Юрий Поляков

сто дней до приказа

РОСМЭН

SHOUT
SHARE
IT

- Между двумя морями
  - «Узнать — как в душу заглянуть…»
  - До холста
  - Поэт-красноармеец
  - «Из боя в бой…»
  - О праве на боль
  - Один из двадцати миллионов
  - «Его талант железом утвержден…»
  - О литературоведческом поиске
  - Из истории знаменитого стихотворения
  - Между двумя морями
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Между двумя морями
Повесть о поэте-фронтовике Георгии Суворове

«Узнать — как в душу заглянуть…»

(Вместо предисловия)

Когда я захотел поближе познакомиться с этим человеком, мы были ровесниками: ему 24, мне 24. Да и судьбы наши были схожи — педагогический институт, учительская работа, служба в армии, военная журналистика, стихи, уже сложившиеся в первую книжку… Его стихи мне нравились, многие помнил наизусть. Но это были строки, которые постигаешь по-настоящему глубоко лишь тогда, когда знаешь их автора, знаешь не только его слово, но и дело, его жизнь.

Я бы хотел просто подойти к этому высокому красивому сибиряку, протянуть руку и попросить почитать стихи, зная, что читает он с удовольствием. Трудно сказать, какое бы стихотворение он выбрал, может быть, вот это:

Туманов голубая робость
Над грязью выбитых дорог.
Устало ухает автобус
Из лога в лог, из лога в лог.

Ухабы — глубже. И пропала
В ночи дорога. Нет и нет.
Пробив густую темень, ало
Взметнулись сполохи ракет…

Он читал бы с особым сибирским выговором, будто грызя кедровые орешки, а в его чуть раскосых глазах в самом деле бы вспыхивали те самые ночные ракеты:

Так, отоспавшись за неделю
И письма написав домой,
С рассветом натянув шинели,
Мы движемся к передовой.

Чтобы в бою узнать героя,
Узнать — как в душу заглянуть, —
Какой высокою ценою
Он свой оплачивает путь.

Но наша встреча не могла состояться. Давно уже унеслись в вечность воды реки Нарвы, при форсировании которой гвардии лейтенант Георгий Суворов погиб в 1944 году, состарились его ровесники — молоденькие гвардейцы, начинающие поэты фронтовой поры, и я, еще, в сущности, совсем молодой человек, уже стал старше его. У него теперь другие ровесники. И так будет всегда, потому что время подобно медленному урагану, незаметно уносящему людей. Не многие способны выдержать напор этого ветра времени, Суворов выдержал, и именно поэтому я ощущаю его как живого человека, а его стихи, написанные сорок лет назад, читаю, словно боясь смазать еще не просохшие чернила.

О классиках мы знаем все: что они делали или говорили в такой-то день их жизни, кто их натолкнул на тот или иной замысел. Порой даже знаем о них то, чего и они сами не знали. Другое дело, когда путь молодого писателя оборвался в самом начале и все оставшееся от него — тоненькая книжка прекрасных стихов, несколько строк в истории отечественной литературы и горькие слова более счастливых его ровесников о том, что он стал бы замечательным художником, если бы…

Но это «если бы» произошло. И человеческая судьба, которая минуту назад, подобно быстрой реке, летела вперед, подпрыгивая на камешках мелких невзгод и закручиваясь в водовороте народных бед, вдруг словно рассыпалась на тысячи мельчайших осколков: старые фотографии, письма, кем-то запомненные обрывки разговоров, воспоминания… У поэта — стихи, конечно. Из этих осколков, увы, человека уже не сложишь, но его образ сложить можно. Обычно не задумываются, какой смысл заключен в ставших как бы клятвой словах «Никто не забыт, и ничто не забыто». Разве я знаю о каждом из многих миллионов погибших на войне, разве я знаю о каждом подвиге? Есть несколько сотен имен, которые мы помним, и в их лице, если так можно выразиться, отдаем дань памяти всем павшим за Родину. Мы же знаем, что многие солдаты повторили подвиг Александра Матросова. А почему «повторили»? Ведь и до него солдаты Великой Отечественной падали грудью на амбразуры. Многих мы не знаем поименно и называем, склоняя головы перед их бесстрашием, одно имя — Матросов. Но мы можем знать обо всех. И в этом «можем» заключен второй смысл формулы «Никто не забыт, и ничто не забыто».

С каждым годом о павших на фронте знать становится все труднее и труднее: уходят их ровесники, соратники. Но спустимся с общенародного уровня на литературный. Немало «стихотворцев обоймы военной» не вернулось с фронта. У некоторых перед

войной вышли первые книги, другие начали печататься в периодике, а третьи при жизни не напечатали ни одного стихотворения. С горькой точностью написал об этом Давид Самойлов:

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

Но если сравнивать поэтов с деревьями, то нужно добавить, что у них как бы общая корневая система, и, для того чтобы в этой корневой системе разобраться, мы должны знать как можно больше о каждом. Знать не по кратенькой биографической справке и нескольким стихотворениям в сотнеименной антологии, а по-настоящему…

И еще об одном я хочу сказать, прежде чем повести рассказ о жизни и поэзии Георгия Суворова. Та «с рассветом вставшая тишина», о которой мечтал и за которую погиб поэт, простирается над нашей Отчизной почти сорок лет. Мы-то помним, какой ценой оплачена тишина, и готовы бороться за нее. Готовы… Готовы ли мы, молодые 80-х, если понадобится, отдать за тишину, как юноши 1941 года, ту единственную жизнь, которая дается, как известно, только один раз? Сможем ли? Повременим с дежурным «да!» и вглядимся в черты поколения, вынесшего войну с фашизмом, сверим свои души с душами героев, вчитаемся в строки поэтов-фронтовиков, отразившие не только их личные судьбы, но и судьбу народа, может быть единственного в мире, для которого слово «победа» и радостное и горькое одновременно.

И последнее. Эта книжка не научная биография, не литературоведческое исследование, хотя творчество Суворова заслуживает и таких работ. Это попытка поэта 80-х рассказать о поэте 40-х. И попытка, нужно сказать, ответственная, потому что о нем писали и размышляли такие мастера советской поэзии, как Леонид Мартынов, Николай Тихонов, Сергей Наровчатов, Алексей Сурков, Леонид Решетников, Александр Смердов, Михаил Дудин.

Николай Тихонов и Михаил Дудин составили, отредактировали и издали в 1944 году, через несколько месяцев после гибели поэта, его книжку «Слово солдата». Леониду Решетникову мы обязаны находкой и публикацией многих ранее неизвестных произведений Суворова, двадцать лет пролежавших в архиве Нарвского городского музея. Леонид Решетников — составитель, автор предисловий и комментариев к двум наиболее

полным сборникам суворовских стихов, писем и воспоминаний о нем — «Звезда, сгоревшая в ночи» (Новосибирск, 1970) и «Соколиная песня» (Москва, 1972).

Интересно и то, что почти все названные мною поэты посвятили Суворову стихи. Факт не случайный: он и сам любил посвящать стихи друзьям, рассказывать о товарищах языком поэзии. Человек так уж устроен, что, выражая свою любовь, уважение к другу, он стремится подарить ему самое дорогое. Для Суворова самым дорогим были стихи:

Я рассказал бы о тебе в поэме,
Но знаешь сам, теперь нам не до слов, —

писал он в посвящении лейтенанту Андрееву.

Размышляя над рукописью и перечитывая уже написанное, я вдруг сформулировал то, что давно чувствовал: сам Суворов был именно таким человеком, о котором лучше всего рассказывать в поэме. И свой рассказ о его жизни, творчестве, если бы мне нужно было определить жанр, я бы назвал поэмой. Литературоведческой, но с лирическими отступлениями!

До холста

Стремительно мчащийся к Енисею Абакан, плавные хакасские горы — к ним даже как-то больше подходит пушкинское «холмы». Здесь родина поэта, о возвращении сюда он мечтал всю войну; для него, как и для миллионов советских людей, путь к Берлину был одновременно и дорогой домой.

Я бродил по душному июньскому Абакану, разглядывал здание педагогического техникума, который окончил Георгий Суворов, и думал о том, что, не побывав на родине поэта, по-настоящему не проникнешься его стихами. Мысль, что и говорить, неоригинальная, даже, можно сказать, расхожая. И все-таки…

Чтобы понять творческий путь художника, пусть даже так рано оборвавшийся, очень важно знать, что было «до холста», еще до того, как он попытался выразить себя и окружающий мир в поэтических строчках. Детство и юность, может быть, самые важные периоды человеческой жизни, во многом как раз они определяют то, что сделает человек в зрелости. Многие замечательные произведения мировой лирики посвящены именно этому «поиску утраченного времени» — иногда печально-рассудительному, иногда яростно-непримиримому. Без мотива «сереброокой Сибири», без воспоминаний о проведенных на хакасской земле годах невозможно представить себе романтику фронтовой лирики поэта.

А много ли известно об этих начальных годах жизни Г. Суворова? Оказалось, очень немного. И поэтому свой поиск я начал именно отсюда. Были поездки по Красноярскому краю, встречи с людьми, знавшими поэта, работа в архивах… И теперь, не боясь впасть в известный академизм, ведь Краткая литературная энциклопедия не сообщает даже дня рождения поэта, я могу повести свой рассказ с самого начала.

Георгий Кузьмич Суворов родился 19 апреля 1919 года в селе Абаканском Енисейской губернии (ныне Красноярский край) в семье крестьянина-середняка. «Детство его, — вспоминает сестра поэта Тамара Кузьминична Серебрякова (Суворова), — прошло на берегах Енисея, на лоне сибирской природы. С ранних лет Гоша помогал отцу и деду: ворошил сено, колол дрова…»

Будущему поэту выпало нелегкое детство. «Во время коллективизации, — пишет он в автобиографии, — разойдясь с женой, отец уезжает из родного села в деревню Бол. Ничку Минусинского района. После смерти матери (я оставался с ней) мне пришлось ехать к отцу, так как не находил средств для

существования. Окончив начальную школу в Бол. Ничке, а потом пятый класс в г. Абакане (отец переехал в Хакасскую область), я поступил в Хакасское педагогическое училище, уже окончательно порвав связь с отцом…» Этот существенный факт биографии Георгия Суворова обычно обходят молчанием, сообщая только, что он рано остался сиротой. Однако дело обстояло сложней: отец будущего поэта «во время реакции Колчака был участником колчаковских дружин» и, по всей видимости, так и остался в стороне от социалистических преобразований в деревне. И нужно сказать, что отец Суворова был не одинок в своем трагическом выборе.

А его сын сделал другой выбор. О том, кто из них был прав, судить не нам.

Обостряясь с годами, конфликт с отцом в конечном счете привел к разрыву: Георгию Суворову и его сестре пришлось устраиваться в жизни самостоятельно. «В педучилище, — вспоминает Т. К. Серебрякова, — устроились с помощью советской общественности. Жили в интернате». «Учился на средства государства», — пишет в автобиографии будущий поэт. Разрыв с отцом стал серьезнейшим нравственным испытанием для юноши, но это не сломило его жизнерадостного, целеустремленного характера. Позже, уже будучи на фронте, он писал об этом периоде своей жизни:

Легко ли жить с сиротством за плечами,
Но рвались мы к науке и труду.
Мечта сбылась: пред нашими очами
Грядущий день зажег свою звезду.

В одном из своих фронтовых писем к сестре Суворов прямо выражает принципиальное отношение к семейному конфликту — острейшей и трагической форме классовой борьбы: «…Ты пишешь о смерти Вити и Александра. Меня это сильно взволновало. Меня радует только то, что они, дети врага Советской власти, сумели перебороть в себе отцовский яд — а в них его было много — и честно умерли в борьбе за Родину. Защита Родины выше всего. Виктор последнее время, кажется, был комсомольцем…»

В Георгии Суворове жило, как писал Леонид Решетников, «страстное желание, невзирая ни на что, быть и чувствовать себя равноправным членом коллектива строителей нового общества». А между тем судьба не очень благоволила к нему. По причинам, которые сейчас никак не могут считаться существенными, он получил отказ, когда подал заявление в комсомол. Потом, много лет спустя, мы узнаем из его письма, помеченного сентябрем

1942 года, как это было важно для него — иметь право называть себя комсомольцем: «Познакомился с большим советским поэтом А. Сурковым. Он похвалил мои стихи. А литобъединение при ЦК ВЛКСМ (я теперь комсомолец) устроило радиопередачу моих фронтовых стихов». Сын колчаковца, Г. Суворов гордился тем, что наконец стал комсомольцем. И в этом — пронзительный символ эпохи! Успешно учась в Хакасском педагогическом училище, он, вспоминает сестра, «с увлечением читал художественную литературу, любил спорить, беседовать о прочитанном, начал писать стихи, издавать стенную газету „Дружественный шарж“, сам ее художественно оформлял… играл в самодеятельных спектаклях… Имея хороший голос и слух, Георгий пел в хоре, играл в струнном оркестре. Изучив немецкий язык, легко и свободно читал литературу на этом языке, переводил стихи с немецкого на русский…». Страстная тяга к знаниям — одна из характернейших черт поколения «лобастых мальчишек революции». С той же неистовостью учились сверстники Суворова, составившие впоследствии фронтовое поколение советской поэзии.

В 1933 году Суворов поступил в Абаканское педагогическое училище. Хакасский писатель Н. Доможаков, учившийся вместе с будущим поэтом, вспоминает: «Он очень много писал. Мы с ним были членами одного литературного кружка. Помню, нам всем понравилось стихотворение Георгия Суворова „Крыжовник“».

Своевременно закончить училище будущему поэту не удалось «из-за слабой экономической обеспеченности». Не доучившись нескольких месяцев, он уехал работать учителем начальных классов села Иудино в Хакасии (ныне село Бондарево Бейского района). Это дало возможность его сестре благополучно закончить училище, а сам он сдал выпускные экзамены, воспользовавшись первым же отпуском. Так в 1937 году семнадцатилетним юношей Суворов начал свою трудовую деятельность в качестве сельского учителя.

В автономных республиках и областях Сибири (Хакасская автономная область была образована в 1930 году) вырастала промышленность, создавались колхозы. Но не только сопротивление кулаков и национальной знати — баев лежало на пути строительства нового общества. Серьезными препятствиями были неграмотность, религиозные предрассудки угнетенных некогда классов. Достаточно сказать, что лишь в 1926 году была создана хакасская письменность. В этом отношении борьба с неграмотностью, просветительская работа приобрели исключительное, политическое значение.

Внес посильный вклад в это большое дело и молодой учитель

Суворов. Он относился к работе увлеченно, творчески, ненавидел рутину и мещанство в деле воспитания. Журналист А. Шадрин, приезжавший по командировке газеты «Красноярский комсомолец» в село Иудино, рассказывает интересный эпизод:

> «Звонок. В дверь со стопкой тетрадей в руках врывается высокий белокурый парень…
>
> — Вот и Суворов, — отрекомендовали вошедшего мои собеседницы…
>
> Я назвался, сказал о цели приезда…
>
> Когда мы вышли и направлялись к его дому, он объяснил:
>
> — Думал, инспектор из облоно приехал выяснять мои отношения кое с кем из учителей. Жаловались на меня.
>
> — За что?
>
> — Кое на кого эпиграммы сочинил. Есть тут у нас мещаночки. Этакие благообразные с виду. А копнешь — болотом отдает. А ребятишки — народ сообразительный, все видят. Настоящие-то посмеиваются, но есть и такие — хотят походить на этих благообразных. Душа не терпит…»

Что ж, молодой поэт и учитель отстаивал свою позицию разящим оружием стихотворной сатиры.

Ученики любили и уважали своего учителя. Много лет спустя с теплотой вспоминает о нем одна из бывших его учениц: «Молодой, высокий, с волнистыми волосами и улыбкой, которую можно назвать улыбкой счастливого человека. Казалось, он улыбался просто потому, что вокруг мы, ученики, небо, жизнь… Георгий участвовал в самодеятельности, был нашим „учителем танцев“».

Молодой поэт активно участвовал в агитационной и культурно-просветительной работе на селе. «В этот год (имеется в виду 1937 год), — вспоминает Т. К. Серебрякова, — проходили выборы в Верховный Совет СССР. От нашего села выбрали лучшего председателя колхоза тов. Бабина. Помню торжественное предвыборное собрание… Георгий сидел в президиуме и записывал что-то в блокноте карандашом. Потом он взял слово и прочел приветственное стихотворение, написанное им тут же… Последняя строчка была произнесена им торжественно и громко, и указывал он прямо на Бабина, сидевшего тут же: „Тебе мы путь в Совет откроем!“ Здесь же, в Иудине, он писал много одноактных пьес на тему дня, которые проверялись местной парторганизацией и исполнялись участниками самодеятельности

в сельском клубе». Агитационный пафос поэзии Суворова, зарождавшийся и утверждавшийся в тот период его жизни, впоследствии получит яркое развитие в его фронтовом творчестве.

Учительствуя в глухом сибирском селе, Георгий Суворов свел дружбу с людьми в полном смысле выдающимися. Среди его друзей Хоха (Иван) Чертыгашев, ставший одним из первых в Хакасии чабаном-орденоносцем, депутатом Верховного Совета РСФСР; известный хакасский певец Оралдай Кучугешев. Совершенно особенное влияние на Суворова оказал поэт Иван Ерошин. Один из авторов и распространителей еще дореволюционной, полулегальной большевистской газеты «Правда», хорошо знавший других поэтов-правдистов, Бердникова, Арского, Артамонова, близко знакомый с Серафимовичем, — Ерошин приехал в Сибирь с политотделом 5-й армии, освобождавшей край от колчаковцев. Он был одним из тех литераторов, чьи произведения открывали первый номер журнала «Сибирские огни». В 20 — 30-х годах он пешком путешествовал по Сибири, увлекся фольклором горноалтайцев. Его переводы и подражания поэзии Горного Алтая высоко оценил Ромен Роллан. Именно Ерошин увлек своего молодого друга собиранием хакасского фольклора, тем более что интерес к устному народному творчеству хакасов, говоря буквально, был у Суворова в крови: в его роду по материнской линии были хакасы.

Колоритная образность и символика хакасских песен и сказаний, широко распространенный в них принцип параллелизма повлияли на формирование художественной палитры молодого поэта, по-своему воспринявшего многие мотивы хакасской народной поэзии.

Опоэтизированный рассказ о таежном охотнике, столь распространенный в хакасском фольклоре, стал одним из излюбленных мотивов суворовской поэзии, придав романтичное своеобразие его фронтовым стихам. Я говорю не о простом заимствовании из народных произведений, но о художественном сплаве образов фольклора и глубоко личных впечатлений, наблюдений и размышлений Суворова, немало прошедшего с ружьем по лесистым склонам Саянских гор. Об этом он часто вспоминал на фронте, мечтая вернуться на родину:

Я исходил немало горных троп
Высокого и строгого Саяна.
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянно спутником ветров.

Юношеские произведения Суворова, к сожалению, не сохранились. Лишь Мартынов процитировал некоторые стихи хакасского периода и дал им доброжелательную, но строгую оценку: «Они повторяют хорошо знакомую алтайскую лирику старого сибирского поэта Ивана Ерошина… Хакасские мотивы певца Оралдая юноша Суворов переложил на русский лад в духе Ивана Ерошина…»

Это ясно видно, если сопоставить стихи учителя и ученика.

Иван Ерошин:

Солнце — жаркий мой костер.
Ночь густа, черна, как соболь,
Шкурою своей мохнатой
Валится на мой костер.
Кедры мглисты, молчаливы.
Светлолицый, гибкий пламень
Обогрел, сварил сырое,
Вспомнилась родная мать.

Георгий Суворов:

День — пулан сереброшерстый
С быстрыми ногами ветра,
С синими глазами неба,
С серыми рогами туч.
День — пулан ветвисторогий.
Жалко убивать пулана,
Протрубившего в горах…

Но есть и различие, которое не отметил в своем очерке Леонид Мартынов. Автор «Песен Алтая» прежде всего стремится передать своеобразный строй художественного мышления горноалтайцев, их непривычное для европейца восприятие мира. Это, так сказать, сверхзадача его поэзии. Для Суворова же, только нащупывающего в ту пору свой путь в поэзии, важно другое: его привлекают романтические, яркие образы фольклора, которые призваны помочь молодому поэту необычно, свежо выразить мироощущение. Ведь и строчки о «дне-пулане»: «Жалко убивать пулана, протрубившего в горах» — это выражение юношеской жадности к жизни, близкое по своему пафосу к романтической поэзии Николая Тихонова.

Касаясь учителей Суворова, нельзя не вспомнить известного крестьянского мыслителя Тимофея Михайловича Бондарева (1820–1899). На первый взгляд такое сближение может показаться надуманным. Однако речь идет не о непосредственном творческом влиянии, а, если так можно выразиться, о включении образа этого выдающегося человека в сферу духовной жизни молодого поэта.

На судьбе Т. М. Бондарева нужно остановиться подробнее. Он родился в 1820 году в области Войска Донского и был крепостным крестьянином. В 37 лет, будучи отцом пятерых маленьких детей, Бондарев попал в солдаты: помещик решил наказать его за свободомыслие. Случай жестокий даже по тем временам… Военную службу он отбывал на Северном Кавказе, где прослужил десять лет и даже был назначен полковым дьяконом. В это время он познакомился со стихами декабристов и книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Поиски социальной правды привели Бондарева в секту субботников. Он был осужден и сослан в Сибирь, в село Иудино Енисейской губернии, где много лет спустя работал учителем Суворов.

Бондарев, до преклонных лет занимаясь крестьянским трудом, в часы зимнего досуга учил грамоте крестьянских детей. Но главное — он писал послания и памфлеты, в которых пытался, опираясь на Библию и свой опыт земледельца, найти выход из тупика социального неравенства, резко критикуя тунеядцев — кулаков и помещиков. Крупнейшее программное его произведение — памфлет «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». В нем Бондарев с горячей убежденностью доказывает благородность и необходимость земледельческого труда для каждого человека, невзирая на его социальное положение. Бондарев был уверен, что, узнав его учение, люди пойдут по указанному пути, и поэтому делал отчаянные попытки опубликовать свой памфлет, безрезультатно посылая рукопись царям, высшим сановникам. Но вот Бондарев послал свой памфлет Л. Н. Толстому и Г. И. Успенскому, которые горячо поддержали его учения.

Л. Н. Толстой, открыто говоря о влиянии на него идей иудинского мыслителя, всячески их пропагандировал и стремился издать «Торжество земледельца», что ему частично удалось — сначала во Франции (1880), а потом, уже после смерти Бондарева, в России, объятой огнем первой русской революции (1906). «Совершенно ясно стало в последнее время, — записывает он в дневнике 2 апреля 1906 года, — что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь (как книга Библия), сама жизнь, жизнь человеческая, при которой

только возможно проявление высших человеческих свойств… Как прав Бондарев!» Переписка между Л. Н. Толстым и Т. М. Бондаревым длилась 12 лет и оборвалась со смертью иудинского мыслителя. На могиле Бондарева по его завещанию были установлены стол с лежащей на нем рукописью «Торжества земледельца», которую, как мечтал автор, мог бы прочитать любой прохожий, а также каменные плиты, на них Бондарев высек важнейшие цитаты из своего сочинения. Но, увы, несмотря на всероссийскую и даже европейскую известность мыслителя, односельчане да и собственные дети относились к Бондареву скептически, считали чудаком, и вскоре могила мечтателя пришла в запустение, многие плиты с надписями исчезли, а в памяти односельчан сохранился смутный образ странного человека, корившего их за стремление к обогащению. Ничего не знал о выдающейся роли Т. М. Бондарева и юный иудинский учитель Суворов.

Эти сведения ему сообщил Афанасий Шадрин, приехавший в Иудино в командировку, с тем чтобы проверить состояние могилы крестьянского писателя. «Назавтра, — вспоминает Шадрин, — мы разыскали с ним камни-писаницы с могилы Бондарева. Георгий слышал об этом человеке самые противоречивые рассказы. И для него, молодого учителя, было новостью, что Лев Николаевич Толстой считал Бондарева своим духовным наставником.

Одну из раздробленных плит, — вспоминает А. Шадрин, — мы нашли в кладке фундамента колхозной конюшни. Узнали, что некоторые были использованы местными крестьянами на застилку дорожек во дворах и облицовку погребов…

— Варвары! — возмущался Георгий. — И мы, учителя, не лучше. Не удосужились узнать хоть что-нибудь о таком человеке…»[1]

Общение с Иваном Ерошиным, встречи со сверстниками, приезжавшими из краевого центра, раздумья о своем литературном признании — все это укрепляло в Суворове мысль о продолжении образования. «Я уже задумывался о переезде в какой-нибудь город, — говорил он Шадрину, — в литературную среду. Да и учиться надо. Средняя школа — маловато…»

Летом 1938 года Георгий Суворов побывал в Красноярске — учился на курсах при Институте повышения квалификации кадров народного образования (ИПККНО) и с 1 сентября преподавал в иудинской школе русский язык в 5–7-х классах. Именно в 1938 году, вспоминает Шадрин, «впервые его стихи появились в редакционной папке… Юношеские, несовершенные по форме, они тем не менее подкупали страстностью и искренностью. В них было что-то от характера самого автора,

человека живого, энергичного, горячего». Но для публикации тогда ничего отобрано не было, не печатались стихи Суворова к тому времени и в хакасской периодике. Это было время накапливания впечатлений, обретения первых навыков работы со словом, время, когда поэзия уже перестала быть средством юношеского самовыражения, но еще не стала «почвой и судьбой».

Летом 1939 года Суворов приехал в Красноярск с целью продолжить свое образование. Он поступал на отделение русского языка и литературы Красноярского государственного педагогического института. Успешно закончив подготовительное отделение и сдав экзамены (русский язык: сочинение — «отлично», устный — «отлично», литература — «хорошо»…), он был зачислен на факультет русского языка и литературы.

Одновременно Георгий Суворов активно включился в литературную жизнь Красноярска, куда к тому времени перебрался и его учитель Иван Ерошин. Молодой поэт познакомился с известной собирательницей сибирского фольклора Марией Красноженовой, в записи которой вышли «Сказки Красноярского края», поэтом Казимиром Лисовским, широко печатавшимся в красноярской периодике. Суворов стал участником литературных пятниц литобъединения при газете «Красноярский рабочий», которым руководил Ерошин. В то время в крае велась серьезная работа с литературной молодежью, о чем свидетельствует вышедший в 1938 году «Сборник произведений начинающих писателей Красноярского края», авторами которого стали Сергей Сартаков, Игнатий Рождественский, Казимир Лисовский… На занятиях литобъединения Георгий мог встречаться с будущим Героем Советского Союза Борисом Богатковым, молодым поэтом, активно выступавшим в красноярской периодике.

Суворов «жадно впитывал все, что говорилось в стихах, кому бы они ни принадлежали. Чувствовалось, что он критически начал относиться к своим стихам, становился более требовательным к себе…».

Укоренилось мнение, что именно в красноярский период началась литературная деятельность поэта, но это не так. До войны в красноярской периодике Суворов не печатался.

Ничего странного в этом нет: ведь он пробыл в Красноярске считанные месяцы и в октябре 1939 года с первого курса был призван на срочную военную службу.

Была, наверное, еще одна причина: молодой поэт переживал кризис творческого роста, стал требовательнее относиться к себе и не торопился с публикацией прежних, уже не удовлетворявших его стихов. Как правило, такая неудовлетворенность собой

предшествует резкому качественному скачку в творчестве, когда на «холст» ложатся первые уверенные мазки, это еще не мастерство, но уже и не ученичество, а первый шаг в настоящую литературу. Но все это произойдет с Георгием Суворовым в Омске.

Поэт-красноармеец

Армия… Совершенно особенная часть мужской жизни. Недаром армейская дружба самая крепкая, недаром с годами все нежнее вспоминаешь о времени службы, какой бы трудной и суровой она ни была. Стоит закрыть глаза — и опять: громыхая сапогами, в душную утреннюю казарму вбегает дневальный и, набрав полную грудь воздуха, кричит: «Батарея, подъем!..» И если через мгновение он не добавляет слово «тревога!», значит, начинается обычный солдатский день со строевой подготовкой, с политзанятиями, с недолгим личным временем. Казалось бы, ни минуты досуга, но именно в армии — это я знаю по себе — стихи пишутся с какой-то неистовой энергией. Ты шагаешь по плацу, выполняешь команды офицера, а в сознании твоем в этот миг наконец проявляются строки, еще только утром бывшие каким-то неясным, тревожно-радостным ощущением.

Но, как ни странно, именно о солдатском периоде жизни поэта оказалось известно менее всего — видимо, у исследователей сработал принцип: в армии не до стихов.

Не приходило в голову искать следы поэтической деятельности Г. Суворова в Омске, где начиналась его армейская служба. Поэтому стоило только перелистать областную периодику и… Но не буду забегать вперед. А лучше представим себе широкоплечего, стройного красноармейца (сразу видно — солдатская косточка); немного рассеянный вид говорит о том, что боец в увольнении. В руках папка с новыми стихами, а спешит он по омским улицам на очередное занятие литературного объединения, которым руководит знаменитый Леонид Мартынов. Омск издавна был одним из центров литературной жизни Сибири. В первые годы Советской власти здесь начинали творческий путь Всеволод Иванов, Сергей Марков, Леонид Мартынов. Перед войной в Омске жили и работали Сартаков, Коптелов, Марков, Мартынов, Драверт… В это время начал выходить литературно-художественный «Омский альманах», печатали литературные произведения газеты «Омская правда», «Молодой большевик». Была в городе и значительная группа молодых литераторов, среди них Иосиф Ливертовский, яркий поэт, чьи стихи, опубликованные в «Омском альманахе», были замечены и даже вызвали полемику; Николай Копыльцов, чья юношеская поэма была одобрена Багрицким; Марк Юдалевич, писавший стихи, увлекавшийся историей края. Именно Юдалевич, единственный из друзей, уцелевший в войну, в своих воспоминаниях рассказал о вхождении Суворова в литературную

жизнь Омска. Он вспоминает о том, как во время одного из вечеров молодой поэзии в воинской части на сцену поднялся красноармеец и с большим успехом прочитал свои стихи. Некоторые из них Юдалевич цитирует по памяти:

А гора высока,
Высока,
А под ней облака,
Облака,
А дорога крута,
Крута,
И зовет высота,
Высота.

Пользуясь нечастыми увольнениями, красноармеец Суворов встречался со своими товарищами по перу, обсуждал свои и их новые работы. В стремлении найти точные, яркие слова, чтобы передать красоту сибирской природы, будущему автору «Слова солдата» оказался близок Иосиф Ливертовский:

Горит боярка бурая у впадин,
Изломанную линию небес
Нарисовали горы. Ароматен
Сосновый поднимающийся лес…

Со слов Мартынова мы также знаем, что два раза в месяц по понедельникам Суворов аккуратно являлся в местное издательство, чтобы встретиться там с литераторами, показать свои новые стихи. Все это говорит об активном участии молодого поэта в литературной жизни, о неустанной творческой работе.

Очень важно для омского периода и другое: именно тогда, став солдатом, Суворов по-настоящему глубоко проникся высоким смыслом ратного труда, именно тогда сформировались любовь и уважение к воинской службе, к защитникам Родины, без чего невозможно представить себе его фронтовую поэзию.

Тем временем поэзия молодого красноармейца вызывала все больший интерес. Наконец, 21 марта 1941 года в омском Доме Красной Армии, как сообщил в разделе «По краям и областям Сибири» журнал «Сибирские огни», состоялся «большой вечер поэта-красноармейца Г. Суворова. Вступительное слово сделал Леонид Мартынов. Суворов прочитал ряд своих стихотворений, посвященных боям в Финляндии («Случай с танком», «Отдых», «Штурм» и др.). Выступавшие товарищи отметили несомненный

поэтический рост Г. Суворова за последнее время».

Леонид Мартынов много сил отдавал литературному наставничеству. Его очерк «Поэт-красноармеец» — забытая страница литературно-критической и наставнической деятельности автора «Лукоморья» в омский период его жизни, а ведь это один из немногих источников, где можно почерпнуть сведения о Суворове тех лет. Это одновременно и литературный портрет молодого поэта, и взыскательный разбор его успехов и промахов, а также добрая поддержка и совет, как работать дальше.

С тех пор как очерк «Поэт-красноармеец» появился в «Омской правде», он не переиздавался; и мне хочется процитировать его как можно полнее, ибо не многие вступающие в литературу сегодня могут похвастаться подобным серьезным и развернутым разговором о своем творчестве:

> «Рядовой боец Н-ской части, вынув из кармана шинели немецко-русский словарь, завел речь о стихах Генриха Гейне. Боец недавно перевел «Лорелею». Мы говорили о блоковских переводах Гейне. Затем беседа перешла на Лермонтова, Антокольского, Багрицкого, Киплинга, Омара Хайяма.
>
> Кто был этот юноша? Бывший студент литературного факультета? Да, Георгий Суворов до призыва на военную службу действительно посещал институт. Полтора месяца, иными словами сорок пять дней. Только. Так что знания свои получил не в институте. А где?
>
> Ответ прозвучал несколько неожиданно. В горных долинах Хакасии, в дальних селах юго-восточной окраины страны.
>
> Ценитель Уайльда, не случайно ли оказался он там, этот юный Георгий Суворов? Но, взглянув на профиль красноармейца, я понял, что Суворов не гость, но уроженец этих краев. Несомненно так. И больше того: он если не наполовину, так, во всяком случае, на треть сам хакас. Так и оказалось… Надо сказать прямо: несмотря на свою начитанность, несмотря на свою любовь к литературе, Георгий Суворов приносил поначалу довольно-таки слабые стихи.
>
> Самое тонкое знание персидских лириков, Гейне, Лермонтова, Уайльда все же еще не является само по себе залогом творческой удачи. С родного Енисея Георгий Суворов привез сюда, в Омск, милые, изящные,

но едва ли все же имеющие самостоятельное художественное значение стихи. Лучшие из этих стихов были откровенно подражательными.

…Больше года прошло с той поры. И за этот год, год военной службы, Георгий Суворов немало вырос. Он написал едва ли меньше чем десять тысяч стихотворных строк.

Отсюда, из Омска, Суворов шлет стихотворные послания своим друзьям — певцам, лесосплавщикам, пастухам, поэтам Хакасии. Здесь, в Омске, он пишет пьесу из жизни лесосплавщиков на Абакане и поэму о хакасском богатыре Камза Пиге. Говорить о поэме в целом еще рано, она только начата, и нам кажется, что автор еще не продумал многое, еще не вполне четко представляет себе сложность тех больших исторических событий, которые решил показать в этой поэме. Но отдельные отрывки из этих стихов пленяют нас своей свежестью, своей силой:

Нет озера в родных степях,
Где не садился бы крохаль, —
Нет человека на земле,
Не испытавшего печаль! —

говорит погибающий богатырь. Но, добавляет он,

Один, страдая, — рысь в огне, —
Добра от зла не отличит.
Другой, страдая, миру шлет
Любви горячие лучи.

Хотелось бы привести здесь и другие строфы, в которых рассказывается о дружбе и ненависти, о судьбах народов, о некоем старом, мудром донском казаке, облегчившем страдания хакасского богатыря, и многие еще стихи Георгия Суворова, этого молодого поэта, который с равным вниманием прислушивается к поэзии народов Запада и Востока.

…Так пишет юноша из Хакасии, переводчик Генриха Гейне, поклонник восточного мудреца Омара Хайяма, трезвый ценитель Киплинга и Уайльда — рядовой боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Отметив некоторые просчеты и недостатки Суворова, Леонид Мартынов приходит к выводу, что его поэзия — незаурядное явление в молодой литературе. Положительная оценка известного поэта имела для будущего автора «Слова солдата» большое моральное и практическое значение. В течение буквально нескольких недель в омской периодике появляется целый ряд его стихотворений: в «Омской правде» — «Выборгская заря» (11 мая), «Портрет из цветов» (31 мая), «Чтоб крепла сила, молодость твоя…» (6 июня); в «Молодом большевике» — «Тропа героя» (25 мая).

Стихотворение «Выборгская заря» посвящено войне с белофиннами, «той войне незнаменитой», говоря словами А. Твардовского. В предвоенной советской поэзии появилось немало стихов, посвященных этой теме. «Лучшие произведения, созданные тогда, — пишет А. Абрамов, — непосредственно вводили в советскую литературу образы, интонации, мотивы, которые получили затем развитие в поэзии Великой Отечественной войны».

Очевидно, что даже о суровости военных будней Суворов пишет с тем же романтическим пафосом, пользуясь теми же яркими образами, — «он видит в смерти свет зари и стали». Романтическое видение поэта-красноармейца особенно заметно при сравнении его стихов, скажем, со стихами участника финской войны Сергея Наровчатова — обнаженными, принципиально лишенными малейших намеков на романтику:

Мы сухари угрюмо дожевали
И вышли из землянок на мороз…
А письма возвращенья нам желали
И обещали счастья полный воз.

В глаза плыла уже шестые сутки
Бессонница…
Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.

Такая принципиальная антиромантичность была, с одной стороны, реакцией молодых поэтов-бойцов на тяжкую правду войны, а с другой стороны, на ее «облегченное» изображение во многих стихах предвоенных лет. Нужно подчеркнуть, что новое поколение выражало в заостренной полемической форме свое неприятие не романтической поэзии вообще — на произведениях Багрицкого, Светлова, Тихонова оно было воспитано, — а свое

несогласие с псевдоромантическими стихами, которые не переосмысляли мир в свете высоких идеалов, а просто-напросто игнорировали реалии современности, отворачиваясь от сложности и неоднозначности такого экстремального явления общественного бытия, как война. Именно о такой «псевдоромантике» писал Наровчатов:

Лгущая красивыми строками!
Мы весь ворох пестрого тряпья
Твоего, романтика, штыками
Отшвырнули напрочь от себя.

Так же суровы и обращены к реальному военному быту были стихи Суркова, Твардовского и других участников событий. Тем не менее очевидцы финской кампании писали и другие стихи. Николай Тихонов, например, не обходя страшную реальность войны, остался верен романтической доминанте своей поэзии.

Именно на тихоновский опыт романтического осмысления войны, на мой взгляд, опирался Георгий Суворов.

Молодые поэты, сверстники Суворова, остро чувствовавшие приближение большой войны, посвящали свои поэтические размышления грядущему испытанию: одни, следуя определенной тенденции, «подавали войну в пестрой конфетной обертке», как выразился Сурков. Причем это не было какое-то сознательное «облегчение» темы: у молодых поэтов, например у юного Бориса Богаткова, земляка Суворова, это было естественное выражение любви к Советской Родине, веры в ее «никем непобедимые» силы. Часто проводились оптимистические параллели с гражданской войной. К теме гражданской войны обращались практически все «юноши 41-го года». Суворов написал стихотворение «Тропа героя», рассказывающее о герое гражданской войны в Сибири Петре Щетинкине. Описывая «красных партизан-богатырей», поэт создает символический образ партизанской тропы:

Подступала не тропа — аркан,
Земляная плеть…
И, багровея,
Из-под ног усталых партизан,
Выскользнув, летела в глубь Саян,
Колчаковцам свертывая шеи.

В центре стихотворения «Тропа героя» — образ легендарного партизанского командира, изображая которого поэт тяготеет к

романтическим краскам, подчеркивая исключительность, былинную мощь народного вожака:

Словно крылья черного орла,
Развевалась на ветру боргатка.
На устах у командира — мгла.
Очи — черная смола.
В сердце молодецкая ухватка.

Георгий Суворов подчеркивает преемственность поколений, и партизанская «тропа-аркан», до поры пропавшая в зарослях, в «нужный час себя откроет» и поможет расправиться с врагами.

Обобщая, можно сказать, что на творчество Суворова омского периода огромное влияние оказали традиции молодой советской поэзии, он опирается в своих художественных поисках на широкое знакомство с русской и зарубежной поэзией, знание народного творчества. В то же время он ищет и новые пути. Прежде всего это стремление соединить дух советской романтической поэзии с образностью народного творчества, в частности хакасского фольклора. Поэт ищет яркие эпитеты, сравнения и метафоры («Над городом вскипает сок зари…»; «Подступала не тропа — аркан…»; «День — пулан ветвисторогий…»).

Однако было бы неправильно говорить о Суворове омского периода как о сложившемся мастере слова. Авторская мысль не всегда находит в стихе свое органическое выражение. Иногда поиск яркого слова приводит автора к давно отработанному поэзией материалу, и «появляются вдруг, — как писал Леонид Мартынов, — всевозможные штампы: „птица яркой юности“, „лесные рулады“, „утра водопады“…».

И все же Суворов встретил войну достаточно заметным в Сибири и активно публикующимся молодым поэтом, определившим в принципе свой путь в литературе.

В полной мере к нему относятся слова, сказанные А. Павловским обо всем фронтовом поколении поэзии: «Так называемое „третье поколение“ советских поэтов, т. е. то, которое окончательно созрело, возмужало и выросло в огне Великой Отечественной войны… несмотря на известные препятствия, характерные для конца тридцатых годов, сумело в основном сформироваться и встретить войну, будучи морально, а в известной степени и эстетически к ней подготовленным…»

«Из боя в бой…»

«Газета живет один день» — так говорят журналисты. И в самом деле, газета недельной давности — никому не интересный лист бумаги. А вот газета, вышедшая сорок лет назад, пожелтевшая, истлевшая на сгибах, — это уже история. Наверное, ничто не дает такого ощущения путешествия во времени, как чтение подшивок старых газет. При этом испытываешь щемящее чувство, чувство горького превосходства над теми людьми, не знавшими своего будущего и гордо-энергичными в своем незнании. Думаешь о том, что когда-то и твоя многодневная, многосложная эпоха спрессуется в десяток-другой таких вот годовых подшивок.

Я помню свое потрясение, когда, впервые листая подшивку газет за 1941 год и с холодом в сердце дойдя до 22 июня, не обнаружил там ни строки, ни слова об уже начавшейся великой войне. Все было как обычно: сообщения о новых трудовых успехах и починах, улыбающиеся лица на фотографиях, какой-то воскресный юмор. Я понимал разумом, что в четыре часа утра, когда раздались первые залпы, типографии уже закончили печатать тираж, и свежие, пахнущие типографской краской пачки газет уже развозились на почту, поэтому любое событие, происшедшее к этому времени, даже война, могло попасть только в следующий номер. И сейчас, читая свежую газету, такую же спокойную, обычную, я не могу порой отделаться от чувства некой недосказанности…

Омская молодежная газета «Молодой большевик» украсила свой новогодний номер плакатом: с крутой горы стремительно спускается на лыжах румяный улыбающийся юноша. На груди надпись: «1941 год». Да, литературный дебют Георгия Суворова и начало Великой Отечественной войны разделяло всего несколько недель.

Войну ждали, не ждали такой войны. Вот почему в поэзии «юношей 41-го года» так отчетливо звучит тема преодоления иллюзий, мучительное сознание того, что «война — совсем не фейерверк», что «врагу указать путь назад» удастся не «спокойными штыками», а ценой миллионов жизней. Эта тема есть и у Суворова, хотя вся предшествующая жизнь подготовила его к испытаниям войны лучше, чем многих ровесников-поэтов, «на фронт ушедших из школ». Но Суворов не декларирует это преодоление, стихи, известные до последнего времени, были написаны человеком, уже немало прошедшим «дымной дорогой из боя в бой». Но ведь от стихов омского периода до фронтовой

лирики Суворова дистанция если не огромного, то значительного размера. Должно же быть «недостающее звено», стихи, в которых поэт как бы перестраивает свою душу, свою лиру на военный лад.

Вот почему я прежде всего стремился найти ранние фронтовые стихи поэта, по которым можно проследить динамику мужания его таланта, ведь не случайно А. А. Фадеев в статье «Художественная интеллигенция в Отечественной войне» говорил о том, что у «талантливой молодежи есть все возможности проявить свои таланты на фронте…».

И такие стихи в самом деле удалось обнаружить все в той же омской периодике, они назывались «Бить — так бить!» и с грозной искренностью еще не воевавшего человека призывали:

Бить — так бить врагов народа,
Чтоб их псовая порода
Никогда не ожила!
На удар — стальным ударом,
Чтобы знали все — недаром
Кровь народная текла.

«…Перечитывая сейчас призывные стихи, стихи-выступления самых различных поэтов, — пишет А. Абрамов, — отчетливо видишь, как они близки друг другу. Громада единого, всеохватывающего чувства, мгновенно проникшего в святая святых человека, стерла различия, оттеснила на задний план подробности в особенностях лексики, интонации, стиха. На первое место выступило единое, общее… Словосочетания „будем бить“, „штыком и снарядом“ или „штыком и гранатой“, „смерть врагу“ можно встретить в десятках стихотворений». Эти слова буквально «один к одному» подходят к приведенному стихотворению Суворова, призывающему: врагов «бить и танком топтать их». Интересно, что с подобными стихами, конечно, отмеченными печатью большого мастерства, выступил одновременно с Суворовым на страницах «Омской правды» и Л. Мартынов.

В конце сентября 1941 года Суворов «первый раз вылетел на фронт». О том, как складывалась его фронтовая судьба с сентября 1941-го по сентябрь 1942 года, мы узнаем из письма к сестре. В течение первого военного года они не имели связи друг с другом, и поэтому, разыскав наконец единственного близкого человека, Георгий Суворов кратко рассказывает о событиях целого года: «Был сначала у Ладожского озера, в гвардейской части. Немцы были сильны, но в этом месте мы их держали и кое-где вели наступательные действия… На этом участке был

хим. инструктором…» Через двадцать дней, как пишет далее Суворов (значит, к середине октября), часть, в которой служил поэт, была переброшена на Тихвинский участок Ленинградского фронта.

Нужно подчеркнуть, что свою боевую биографию поэт начал на одном из тяжелейших участков растянувшейся на тысячи километров линии фронта. Фашистские дивизии согласно плану «молниеносной» войны рвались к Ленинграду, стремясь захватить его любой ценой. Для германского командования это было важно не только в стратегическом, но и в морально-политическом отношении: город Ленина — колыбель революции. Сражения на подступах к Ленинграду носили ожесточеннейший характер. «Пятого ноября, — сообщает далее поэт, — я был ранен в правую ногу двумя минными осколками. Ранение было тяжелое…»

После ранения Суворов был эвакуирован в Алтайский край и пролежал в госпитале до 26 января 1942 года. Поэт был настроен мужественно. «Но ничего, на свои мелочишки и раны будем смотреть, если останемся живы, после войны», — писал он сестре. После госпиталя Суворов прожил несколько дней в Новосибирске у поэта Александра Смердова, активно сотрудничавшего в новосибирской периодике, принимавшего участие в составлении сборника произведений, посвященных фронту. Судя по переписке, которую они поддерживали до самой гибели Суворова, у них сложились крепкие товарищеские отношения. Смердов познакомил своего земляка-солдата с видными новосибирскими литераторами Коптеловым, Мухачевым, Стюарт. Впоследствии в письмах с фронта Суворов рассказывал Смердову о своих боевых делах, о своей творческой работе, о встречах с Сурковым и Тихоновым, посылал новые стихи. Часть стихов, присланных с фронта, Смердов поместил в сборнике «Родина. Стихи молодых поэтов», вышедшем в Новосибирске в 1944 году. Памяти Суворова и Богаткова Смердов посвятил свою военную поэму «Пушкинские горы».

И на передовой, и в госпитале Суворов пишет, пишет, пишет. В письме к сестре он сообщает: «Писать стихи я не бросал ни на минуту. Писал в поезде, отправляющемся на фронт. Писал в госпитале. Писал о бомбежках под ожесточенными бомбежками. Везде писал. Обо всем писал. И сейчас пишу. Война — это почва, по которой я сейчас хожу. Стихи — это мои вздохи».

Эти стихи были опубликованы в сборнике «Сибиряки-гвардейцы», выпущенном в 1942 году. Можно с полным правом утверждать, что перед нами образцы фронтовой поэзии Суворова первого периода: сентябрь 1941 — январь 1942 года. В них еще слышны отзвуки стихотворения «Бить — так бить!». Это

отвлеченный пафос обличения фашизма, когда собственный боевой опыт еще не входит органически в стихи. Таково, например, стихотворение «Наши звезды», где борьба советских людей с фашизмом представлена в виде символического противостояния красной звезды и черной свастики:

Да будет свет!
Исчезнет мгла!
Рычите, палачи!
У смерти лапы… много лап.
У жизни — звезд лучи!

Очевиден общий, как бы лишенный индивидуальных признаков стиль, характерный для стихотворений-агиток первых месяцев войны. Такое стихотворение мог написать и поэт, не побывавший на передовой. Но вот другие два стихотворения-подборки, объединенные в цикл заглавием «Сибиряки», вполне оправдывают стоящие под ними слова «Действующая армия». Написанное от первого лица, одно из них рассказывает о поединке с вражьим дотом. Стихотворение конкретно в описании реалий фронтовой жизни, точно передает состояние человека, вступающего в смертельно опасное единоборство:

Ползу.
И кажется, вот-вот
От гула треснет небосвод
И вихрь гремучего огня
Смешает с глиною меня…

…Я взрою тьму. Я свет плесну
В весеннюю голубизну.

Тема борьбы света с тьмой, впервые ярко прозвучавшая в стихах 1941 года, чрезвычайно характерна для всей суворовской поэзии. «Тема прорыва — через тьму к свету, — подчеркивает А. Коган, — пронизывает творчество Суворова. Тема давняя, «блоковская», но как нельзя лучше отвечающая всему облику Суворова, духу его творчества».

Из Новосибирска поэт снова прибыл на фронт — на Орловское направление, где пробыл недолго и был направлен в Тулу на курсы младших лейтенантов. Проездом он побывал в Ясной Поляне, куда некогда тщетно пытался съездить иудинский мыслитель Т. М. Бондарев. Посещение усадьбы великого писателя

напомнило Суворову об узах, связывавших создателя «Войны и мира» и автора «Торжества земледельца», помогло острей почувствовать свою причастность к духовному наследию русского народа. В это же время младший лейтенант впервые побывал в Москве, где провел семь дней и познакомился в редакции газеты Западного фронта «Красноармейская правда» с Алексеем Сурковым, ставшим к тому времени одним из ведущих поэтов-фронтовиков страны. «В комнату, где мы работали, — вспоминает Сурков, — вошел молоденький лейтенант, вся наружность которого говорила о доброй армейской выучке и повадках бывалого солдата… Георгий вынул из мешка папку, в которой находилась машинописная тетрадь, озаглавленная „Сонеты гнева“… Сквозь неумелые и неровные строки слышалось биение сильного солдатского сердца, испытанного в огне первых тяжелых битв этой нелегкой войны, чувствовался тот свойственный нашей поэзии тех месяцев суровый гуманизм, в котором ненависть к врагу безраздельно слилась с неистребимой любовью к своим людям, своей земле, своему советскому небу, ко всему, на что посягнул враг». Сурков отмечает оптимистичность поэзии Георгия Суворова, созданной в «самую жестокую, самую хищную полосу войны».

Поэт пишет в одном из сонетов:

Сердце на взлете. Смолкните, враги!
Сейчас четырехгранные штыки
Над ночью золотой рассвет подымут.

Интересно отметить, что символический образ штыков, несущих на своих остриях рассвет, очень характерен для фронтовой поэзии. Сверстник и земляк автора «Слова солдата» Леонид Решетников писал в том же 1942 году:

Недаром грань штыка, как даль, светла.
Когда мы с боем за врагами вслед
Входили в город, выжженный дотла,
За нашими плечами шел рассвет.

Встреча Суворова с Сурковым состоялась в конце марта 1942 года. Тогда же, как сообщает поэт в письме к сестре, литобъединение при ЦК ВЛКСМ устроило передачу фронтовых стихов поэта. К сожалению, в то время передачи по радио велись без записи, сразу в эфир, не сохранился и сценарий передачи стихов Суворова. Май и начало лета поэт провел в военных

лагерях в Марийской АССР — готовил младших командиров, а затем был снова направлен на Ленинградский фронт. Начался самый плодотворный и героический этап его жизни и творчества — к сожалению, этап последний.

На Ленинградском фронте Суворов служил командиром взвода противотанковых ружей 60-го Отдельного противотанково-истребительного дивизиона. «Более горячей и смертельно опасной работы, — замечает Решетников, — на войне не было». Служил молодой офицер в дивизии со славными боевыми традициями, первой получившей на Ленинградском фронте почетное наименование гвардейской. Не зная боевого пути этого соединения, его героев и традиций, нельзя достаточно полно понять особенности поэзии Суворова этого периода, ибо он в прямом смысле этого слова стал певцом боевой славы своих товарищей по оружию, воспевал их победы, оплакивал потери.

«Мне казалось, — пишет В. Азаров в рецензии на книгу «Звезда, сгоревшая в ночи», — что Н. Тихонов возлагает особую надежду на Суворова еще и потому, что оба они как бы продолжали высокую национальную традицию „певцов во стане русских воинов“, уходящую в седую древность». Замечание очень точно определяет тот слой русской поэтической культуры, который питал творческую индивидуальность Суворова. Многие русские поэты посвятили прекрасные строки мощи российского оружия — Жуковский, Давыдов, Глинка, Пушкин, Лермонтов, Блок, Брюсов… Это была действительно древнейшая традиция. В период Великой Отечественной войны интерес к русской военно-патриотической поэзии вспыхнул с новой силой; в стихах, написанных в годы иных сражений, современники искали источник сил для нового испытания. На страницах фронтовых газет появлялись целые подборки стихотворений поэтов-классиков. Интересно, например, как актуально звучало со страниц одной из дивизионных газет в 1943 году стихотворение Брюсова «Старый вопрос», написанное в 1914 году. В этих брюсовских стихах есть и гордость за нашу многовековую культуру, за стойкость русского оружия, не раз спасавшего другие народы от порабощения:

Иль мы тот народ — часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один пред грозой
В века испытаний тяжелых?

Иль мы тот народ, что обрел
Двух сфинксов на отмели невской,

Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?

Написанные в начале Первой мировой войны, эти стихи выгодно отличались от сотен появлявшихся тогда рифмованных шовинистических лозунгов. В них спокойная и художественно убедительная отповедь захватчикам, пытавшимся выдать себя за «культуртрегеров», несущих якобы «просвещение» славянским «варварам». Причем эта доктрина пропагандистской машины германского милитаризма за время, прошедшее между Первой и Второй мировыми войнами, существенных изменений не претерпела. Примеров такой действенности классической русской поэзии можно привести множество.

Чрезвычайно популярен стал образ поэта-воина, «певца и ратоборца» своей Родины, по выражению Е. Ростопчиной. В русской поэзии немало примеров этой слитности призваний — поэтического и воинского. Наиболее ярко и символически воспринимался образ знаменитого Дениса Давыдова — поэта и партизана. Не случайно в годы войны поэты обращались к этому неумирающему образу, к произведениям поэта-гусара. М. Спиров, например, писал в 1941 году о Давыдове,

Что он оставляет на вечность
След сабли и след от пера.
Дениса не спрячет могила…
Звенят вдалеке удила.
И сабля его не скосила,
И пуля его не взяла!

Говоря образно, «певцы во стане русских воинов» появились тогда в каждой части, каждом соединении. Как правило, их произведения не выходили за рамки стихотворной самодеятельности, иногда появлявшейся на страницах дивизионных газет. Но психологическая, агитационная сила таких произведений была чрезвычайно высока: призывные стихи исходили из уст товарища по оружию, делящего со всеми тяготы войны, рискующего ежеминутно погибнуть, да и запечатлевалась в них жизнь родного солдатского братства.

Но были среди таких «доморощенных» поэтов и художники в большом и главном смысле этого слова — их знали далеко за пределами частей, где они служили, они были гордостью своих товарищей по оружию. Таким был для моряков-балтийцев Алексей Лебедев, таким был для защитников полуострова Ханко

Михаил Дудин, таким был и Суворов. Эту слитность слова и дела впервые отметил в нем Тихонов, сам принадлежавший к поколению поэтов, бившихся за революцию не только в стихах, но и в кровавых схватках гражданской войны.

Суворов «глубоко уважал свое офицерское звание», уважал и интересовался он традициями русской воинской поэзии.

Поэтическая традиция давала, так сказать, художественный ориентир, но содержание, пафос поэты-воины черпали из фронтовой жизни, богатой примерами самого высокого героизма. Для Суворова таким неиссякаемым источником стали боевые будни его дивизии. Поэт обращался не только к эпизодам, свидетелем которых стал сам, но и к событиям, происшедшим еще до его назначения.

70-я стрелковая дивизия была сформирована в городе Куйбышеве. Принимала участие в финской войне и завершила боевые действия в районе Выборга. С начала Великой Отечественной войны она бьется на дальних подступах к Ленинграду. И под Сольцами наносит сокрушительный удар бронетанковым частям противника под командованием Манштейна. С сентября 1941-го ведет кровопролитные бои в районах Пушкина, Колпина, Пулкова, Красного Бора, на ближних подступах к Ленинграду.

26 сентября 1942 года части 70-й стрелковой дивизии форсируют в рамках Синявинской операции Неву и занимают в районе Московской Дубровки плацдарм, имевший большое значение для дальнейшего прорыва блокады. За образцово выполненное задание командования и проявленный личным составом героизм соединение преобразовывается в 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Свидетелем и участником этих событий был лейтенант Георгий Суворов, чрезвычайно гордившийся своим гвардейским званием и посвятивший гвардейской доблести немало стихотворений, появившихся на страницах дивизионной газеты «За Родину». Вот, например, стихотворение «Гвардеец»:

Рожденный не сегодня, не вчера —
Гвардеец — это от времен Петра —
На все века, на все, на все столетья.
«Ура!» — сентябрьской ночью на Неве.
Победный клич в днепровской синеве.
Гвардеец — слава, песня на рассвете…

В этих стихах и ссылка на традиции русской гвардии, и намек на конкретные боевые дела, и призыв «пройти на Запад в пламени

и дыме». Суворов поистине стал летописцем боевой истории дивизии. Приведу в качестве примера своеобразный, можно сказать, уникальный случай. В тот период дивизией командовал Герой Советского Союза полковник А. А. Краснов, подписавший любопытный приказ по дивизии, в котором говорилось: «В связи с присвоением нашей дивизии высокого звания гвардейской, в соблюдение традиций великой русской гвардии приказываю с сего числа всему личному составу дивизии отпустить гвардейские усы». На этот уникальный приказ поэт откликнулся юмореской «Усы»:

Нам приказали отпустить усы,
И если нам вообразить себя
Часами битв, мерилами грозы,
Врагов везде и без числа губя,
Вообразить себя в те дни грозы,
Когда последний упадет фугас, —
То часовыми стрелками усы
Покажут немцам их последний час.

Поэт-воин — эти два слова прочно характеризуют и поэтическую, и гражданскую особенность судьбы Суворова. Он был храбрым воином, прошедшим путь от рядового до офицера, немало испытавшим на фронте. Наровчатов в стихотворном послании автору «Слова солдата» пожелал, «чтобы суворовское счастье ему дало свои крыла». Что ж, Суворов и в самом деле был талантлив не только как поэт, но и как солдат, командир. Один из близко знавших его на фронте — поэт Петр Ойфа вспоминал: «…Поэт и офицер. Предельная слитность слова и дела, поэзии и воинского долга. Таким был Суворов. Ему удивительно шла новая, тогда еще только введенная офицерская форма. Золотые погоны с одним просветом и двумя серебряными звездочками лейтенанта. Он глубоко уважал свое офицерское звание. В его глазах оно требовало от человека самых высоких нравственных качеств. Он сам был именно таким человеком. Его любили солдаты. Он никогда не позволял себе дешевого панибратства ни с подчиненными, ни с товарищами. Его лексикон не знал хамского тыканья, ни сквернословия в любых обстоятельствах фронтовой жизни. А на войне нетрудно было огрубеть душевно…» Свое понимание того, каким должен быть советский офицер, хранящий славные традиции русского оружия, Суворов выразил в стихах, посвященных командиру дивизии Путилову:

Есть в русском офицере обаянье.

Увидишься — и ты готов за ним
На самое большое испытанье
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.

Он как отец — и нет для нас дороже
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, что он может,
Ведя на смерть, от смерти увести.

И конечно же, прав Петр Ойфа, относя каждую строчку этого удивительного стихотворения к самому автору.

Романтична была не только поэзия Суворова, романтична была и его фронтовая судьба, насколько вообще возможна романтика на фронте, там, «где убита в человеке боль». Но уж таким он был человеком, таким его видели и любили друзья. И редкое воспоминание о Суворове обходится без этого эпизода: во время атаки осколок вражеской мины попал ему в грудь. Суворов сам вырвал его и продолжал бой, не замечая струившейся крови, и только потом, после боя, ослабев, попал в медсанбат.

А вот как рассказывает о своем молодом товарище Н. Тихонов в очерке «Ленинград в сентябре»: «…в комнату входит высокий стройный юноша, как будто сделанный из красноватого металла. Он лейтенант, но он принес стихи. Эти стихи о войне, написанные в блиндаже, на полевой сумке, строки, полные молодой страсти. Они могут быть еще неотделанными, незаконченными, но характер бойца закончен…»

Законченность характера… Иногда, сравнивая стихи сегодняшних молодых (да и свои собственные, что греха таить!), остро ощущаешь отделанность и законченность стихотворных строк в ущерб законченности характера, характера бойца. А это, может быть, главное, что нужно поэту, чему мы должны учиться у «стихотворцев обоймы военной».

О праве на боль

(Лирическое отступление)

Когда мы говорим «фильм о войне», «стихи о войне», не нужно объяснять, о чем идет речь. Все понимают и так: была гражданская, была финская… и была — ВОЙНА — Великая Отечественная, вошедшая в генетическую память народа, который обрел в огне этого испытания такой нравственный и исторический опыт, что еще не одно поколение людей будет постигать его глубины.

Вот где, по-моему, следует искать жизненный источник странного, казалось бы, явления — военной лирики невоевавших поколений. Раскройте сборник любого поэта, родившегося в 40-х, 50-х, даже 60-х годах, и вы обязательно найдете стихи о войне. Они могут быть хуже или лучше, но без них лирический мир человека, знающего о фронте только из устных рассказов, книг, кинофильмов, так же неполон, как если бы в нем отсутствовала память о первой любви, о матери, раздумья о смысле жизни.

Поэты и сами пытаются разобраться в этом кровном пристрастии:

> В пятидесятых рождены,
> Войны не знали мы, и все же
> В какой-то мере все мы тоже
> Вернувшиеся с той войны, —

предлагает свое объяснение Николай Дмитриев. В самом деле, каждый из нас выжил вместе с отцом или дедом, шире — вместе со всем народом. В самом деле, в каких бы мы жили мирах, говоря словами Н. Дмитриева, если бы случилось непоправимое?

Часто приходится слышать или читать в критических рассуждениях, что война для послевоенных поколений поэтов всего лишь память о героическом и горьком прошлом страны, боль искренняя, но не своя, а как бы «заемная». Поэтому не лучше ли молодым писать о своем времени, о своей боли, пусть не такой острой и всеобъемлющей, но пережитой наяву, а уж войну оставить ее участникам и очевидцам.

На первый взгляд все логично, но логика эта формальная, и, поверенная гармонией искусства, она распадается. Именно так,

как в стихотворении «Рубеж» Александра Боброва:

Уж сколько лет!..
А сын в лесу негромко —
Как я отцу — вопросы задает:
— Землянка?
— Да.
— Воронка?
— Да, воронка.
— Окоп?
— Гнездо, где размещался дзот.

Уж сколько лет!..
А сын опять упрямо
Все ищет гильзы.
Мало мы нашли?
Да, может, это не воронка — яма,
Не бруствер — складка на лице земли?..
Не все ж война!
Но ветер дымом горьким
Встревоженному сердцу говорит:
Склонись в раздумье над любым пригорком,
Не ошибешься — здесь солдат зарыт.

Есть боль **соучастника,** и есть боль **соотечественника.** Человеку, чье Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается из поколения в поколение, равно как и гордость за одержанную Победу.

Более того, не пропустив эту боль через собственную душу, не осознав высокий и трагический опыт, вынесенный народом из войны, нельзя быть по-настоящему современным человеком. Особенно сегодня, когда земля напоминает «лимонку», готовую взорваться.

Писать о прошлом, думая про будущее, — прием в литературе не новый. Вспомним хотя бы Георгия Суворова и его ровесников, запоем писавших о гражданской войне на рубеже тридцатых — «роковых сороковых годов», если пользоваться выражением Александра Блока из статьи «О назначении поэта», удачно использованным применительно к новому веку в знаменитом стихотворении Давида Самойлова «Сороковые, роковые…». Именно так, с тревогой о завтрашнем дне, пишут поэты послевоенных поколений о том памятном утре, когда «„мессершмиты“ плеснули бензин в синеву». Они хотят, пусть

мысленно, поставить себя сегодняшнего в начале того горького победного пути длиной в двадцать миллионов жизней, потому что пока существует угроза войны, двадцать вторым июня может стать любой день в нашем календаре. Не случайно Сергей Мнацаканян завершает свое стихотворение «Памяти 1941 года» строчками:

Раннее утро — и красное солнце,
красное-красное солнце весны,
на остановке — автобус трясется, —
небо аукнется, пульс оборвется —
сколько осталось минут до войны?..

…Это, так сказать, жизненная основа рассматриваемого нами поэтического явления, но есть еще основа литературная. Сергей Наровчатов, размышляя именно о стихах Георгия Суворова, высказал мысль, что фронтовое поколение, не выдвинув одного гениального поэта, само, все в совокупности, стало таким гениальным поэтом. И как в русской поэзии невозможно не испытывать влияния Пушкина, так нельзя сегодня писать стихи, не ощущая мощного воздействия поколения поэтов-фронтовиков. Воздействия идейно-тематического, стилевого, но прежде всего нравственного. «А я бы смог, как они?» — этот вопрос явно или подспудно пронизывает каждое стихотворение о войне, написанное сегодня.

Не забывая о России,
Сгорая в танках на снегу,
Стихи из боя выносили,
А я из дома не могу… —

наивно и в то же время очень точно передает свое ощущение ответственности перед «стихотворцами обоймы военной» Александр Швецов и добавляет:

И как же я под небом синим,
Как подвести я их могу!

Но, как правило, эта преемственность поэтических поколений выражена сложнее, диалектичнее, что ли! Часто война как бы пропускается через свой солдатский, хоть и не боевой, опыт. Например, у поэтов, прошедших через армейскую службу,

обязательно есть стихи о военных учениях — с «условным противником», с «условно убитыми». Мысль о том, что обстоятельства образа действия «условно», родись он на десятилетие-два раньше, могло и не быть, обжигает поэта, заставляет мучительно думать о том, что случилось бы, если… Именно в таком ключе написано стихотворение Юрия Гречко «Маневры»:

Посредник вскричал:
— Вы убиты, сержант,
наповал!..
А я-то
на счастье слепое свое уповал,
когда мы бежали, шалея,
в учебном огне.
И цепь отпустила меня,
разомкнувшись на мне…
Убитый условно, я падал на полупути.
Трава и деревья
могли сквозь меня прорасти.
И птица щегол
распевать надо мною могла,
когда наступает весенняя
душная мгла.

Поэт смотрит в прошлое как в зеркало и видит там почти себя. Почти, потому что полному слиянию мешает это зыбкое и так легко отбрасываемое людьми обстоятельство «условно»:

…А кто-то
сорвет землянику
и скажет: «Горчит…»
В траву упадет,
рассмеется, потом замолчит.
И будет, наверно, лежать
голова к голове
с солдатом без имени,
давшим начало траве.

На стихах Юрия Гречко мне хотелось бы остановиться подробнее, потому что он относится к немногим поэтам, пришедшим в литературу в середине 70-х, для которых военная тема стала одной из главных. Причем он принял в себя не только

боль фронтового поколения, но и свойственную фронтовикам гордость за свое ратное дело, высокую воинскую романтику:

Все мерить соленостью пота —
привычка солдат отставных.
Ничто не покажется пресным,
ничто не истлеет, пока
для нас громыхают оркестры
на замерших флангах полка!

Эти строки удивительно созвучны поэзии Георгия Суворова, во многих своих стихах утверждавшего отношение к ратному труду как мерилу важнейших свойств человеческой души. Поэт, задумавшийся о минувшей войне, воспринявший как личную боль фронтового поколения, не может не мыслить о сегодняшнем дне, о его болях и бедах. Иногда мне кажется, что к самой гражданственности и интернационализму, этим неотъемлемым качествам всей русской поэзии, современные молодые поэты приобщаются через военную тему.

И еще одним наблюдением я хочу поделиться. Важным мотивом молодых поэтов 30-х и 40-х годов, писавших о гражданской войне, было чувство зависти к отцам и старшим братьям. Надо ли говорить, что у нынешних молодых, пишущих о войне, этот мотив начисто отсутствует. На фронте порой живые были рады поменяться местами с мертвыми, пользуясь выражением Дмитрия Кедрина. И завидовать тут нечему. Это свойство тесно связано с другим. Готовность к испытаниям, к защите Родины молодые поэты от имени своего поколения не декларируют, эта готовность как бы звучит в самих мужественных интонациях стихов, где есть все — и гордость за военную мощь Родины, и чувство личной причастности к этой мощи, и чувство личной ответственности за такой дорогой и непривычный для нашего народа мир, и чувство страха за человечество, за планету. Именно чувство такого страха рождает в бою отвагу, которая отличала советских воинов. Об этом в стихотворении «Поколение Победы» с пронзительной точностью написал Станислав Золотцев:

Не страх за себя — я плечами ровесников стиснут.
Не холод по коже от близких ракет и торпед:
они для того и встают над водою и виснут,
чтоб кровью и пеплом не застило солнечный свет.

Но трудно поверить — и страшно не верить,

что веха свинца и огня не возникнет у нас на пути.
Мы — первые люди в России двадцатого века,
не знавшие войн — дожившие до тридцати.

На этом было бы можно и закончить наше отступление, если бы не одно «но», которым неожиданно становятся в нашем разговоре такие строки молодого поэта Владимира Урусова:

Катись проторенной дорогой.
Про что угодно воду лей.
Но меру знай — войну не трогай.
Отца родного пожалей.

На первый взгляд можно подумать, что автор в принципе против военной темы в молодой поэзии (помните рассуждения о «заемной боли»!). Но в другом месте Урусов сам признается: «Война меня преследует повсюду…» В чем же дело? А дело в том, что автор имеет в виду тот тип стихотворцев, которые делают из военной темы «паровозы». Есть такой профессионализм, обозначающий дежурные патриотические стихи, тянущие за собой в публикации весь остальной лирический состав. И обычно, показывая стихи товарищу, их авторы с виноватой улыбкой говорят: «Первое можешь не читать. Это паровоз…» Но, честно говоря, я еще не читал ни одной талантливой лирической подборки, втянутой на газетные или журнальные страницы такими «паровозами». Гражданские стихи могут не удаться талантливому поэту, но сознательно идти на подделку художественно одаренный человек, по-моему, просто не может.

В таких стихах нет своей боли, а есть расчет на то, что святость темы возместит отсутствие человеческой подлинности, поэтической новизны. Поэтому всем обращающимся к военной теме надо бы чаще вспоминать суровые строки Николая Майорова:

И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Читатель может задать вопрос: «Почему я назвал это отступление лирическим, если речь в нем идет совсем не об авторе, а о чужих стихах?» Да, это верно, и тем не менее все, о чем я сказал, вещи глубоко личного свойства, потому что военная

тема волнует и меня, потому что немало моих стихотворений посвящено войне, потому что иногда я представляю себе, как принес бы свои стихи о войне Георгию Кузьмичу Суворову. Ему сейчас было бы за шестьдесят. Я пытаюсь вообразить его пожилым, но что-то не получается. Знаете, как в фильмах: бывает, молодого актера неудачно загримируют под старика — немного седины в виски и усы, немного искусственных морщин, а лицо все равно молодое…

Один из двадцати миллионов

Иногда по воскресеньям, выпросив разрешение у редактора майора Царика, я приходил в редакцию нашей «дивизионки» и доставал из чуланчика подшивки военного времени. Мне, как активному военкору, это разрешали. Я погружался в боевое прошлое нашей дивизии, прошедшей с боями до Померании. Грубая, пожелтевшая, похожая на горчичник бумага. Крупный, прыгающий шрифт. Торопливая верстка. А над черными неуклюжими буквами названия вместо привычного лозунга «За нашу Советскую Родину!» сурово и требовательно — «Смерть немецким оккупантам!». Да и все содержание газеты: от маленькой заметочки о снайпере Сидорчуке, уложившем своего 49-го фрица, до пространного объяснения, почему вводится новая форма с теми самыми погонами, от которых некогда решительно отказалась Красная армия, — служит одной цели — морально подготовить солдата к новому бою, укрепить его бесстрашие и беспощадность. А фронтовой юмор! Он одновременно и смешит, и ожесточает:

> «— Где же Мюллер?
>
> — Он в лазарете. Во вчерашнем бою русской гранатой ему оторвало обе ноги!
>
> — Бедняга… Недаром он всегда говорил, что нужно поскорее уносить отсюда ноги!»

«Окоченевшая вражда», — очень точно сказал об этом состоянии человеческой души Семен Гудзенко, но иначе было нельзя, потому что, как написал Суворов,

> Мы твердо знали. Да. Мы знали точно —
> Победу нам дают лишь кровь и боль.

Листаю подшивку…

Вот смутные, непропечатавшиеся фотографии наших бойцов, замученных фашистами, еще более страшные в этой своей смутности. И жирная надпись: «Отомсти!» А вот письмо, которое получил рядовой Сергеев из дому. В нем рассказывается о зверствах фашистов, сжегших деревню, коловших штыками маленьких детей. И снова — «Отомсти!». Рядом — взволнованные рассказы о подвигах однополчан, жестоко мстивших врагу. Очерки, заметки подписаны именами военных корреспондентов;

и по тому, как часто меняются фамилии, понимаешь, насколько опасна была работа дивизионного корреспондента, чьи руки одинаково владели «лейкой», карандашом и пулеметом. А вот внезапно за один номер сменились сразу все: и редактор, и корреспонденты, да и газета стала немного другой. Может быть, накануне землянку редакции накрыло тяжелым снарядом… Я вдруг явственно слышу вой снаряда, потом разрыв и частый пулеметный стук. И только через несколько мгновений соображаю, что это в солдатском клубе начали показывать вечерний фильм. Как всегда, про войну…

Сколько таких «дивизионок» выходило на бескрайних фронтах великой войны, и, хотя они не могли соревноваться по уровню профессионализма, качеству материалов с армейскими и фронтовыми и тем более центральными газетами, где служили многие видные наши журналисты и писатели, они делали свое нужное дело, и со многими из них связаны были судьбы вступавших тогда в литературу писателей, выдвинутых армейской средой, каждый из которых мог бы сказать о себе словами Семена Гудзенко:

Я был пехотой в поле чистом,
В грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
В последний год на той войне.

Но если снова воевать…
Таков уж закон:
Пускай меня пошлют опять
В стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути,
Потом могу я с тех вершин
В поэзию сойти.

Стихи написаны в 1943–1944 годах. Именно в это время сошел в военную журналистику с вершин передовой Георгий Суворов…

В январе 1943 года была прорвана блокада. С плацдарма в районе Московской Дубровки перешли в наступление полки 45-й гвардейской стрелковой дивизии… Боевая и творческая биография Г. Суворова в этот период складывалась следующим образом. Поэтический дар молодого офицера был вскоре замечен. «До 23 октября 1943 года, — вспоминает председатель Совета

ветеранов гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой дивизии имени А. А. Жданова полковник запаса К. В. Кононов, — мы знали его как командира взвода, 23 октября гвардейцы узнали и Суворова-поэта. В этот день он напечатал в дивизионной газете „За Родину“ стихотворение, посвященное комиссару дивизии Георгию Журбе, умершему от ран». Комиссар Журба пользовался любовью солдат, отличался личной храбростью. Несколько номеров дивизионной газеты были посвящены его памяти. Не мог не откликнуться на это трагическое событие и Георгий Суворов:

Солдат… Ты плачешь? Не грешно ли?
Ведь слез солдату не простят.
Любые раны или боли —
Все перенес уже солдат…
Но тут не выдержал. Упали
Скупые слезы на песок.
Солдат, сдержавший натиск стали,
Слез горьких удержать не мог…
Он шел вперед. Он шел на приступ,
Взмахнув рукой над головой.
И знали мы — не жить фашисту,
Не быть фашисту над Невой!

Называлось стихотворение «Над гробом комиссара. Памяти Георгия Журбы».

В период с октября 1942-го по май 1943 года в газете «За Родину» появились и другие произведения поэта, посвященные сентябрьским боям, присвоению соединению звания гвардейского, — «Стяг богатырей», «Стрелковая гвардейская», «Новогодняя песня». А в конце мая 1943 года, после зимнего наступления, Суворов был прикомандирован к редакции газеты «За Родину» и пробыл фронтовым корреспондентом более полугода.

Г. Суворов вошел в сравнительно немногочисленный, но важный отряд армейских политработников — военных газетчиков. «Работа военных корреспондентов, — писал К. Симонов, — не была самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требования со стороны начальства стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии,

ни отсутствием постоянного глаза начальства».

Именно таким военкором был Суворов, размышлявший о высокой миссии воина, призванного в зажигающем слове отразить подвиги своих товарищей по оружию. Как, например, К. Симонов, другие поэты — военные журналисты, он написал стихи о своей работе. В посвящении стоит — «Военному газетчику Н. Маслину». Н. Маслин был в то время редактором газеты «За Родину» и с большим пониманием относился к своему сотруднику, ценил его творчество.

За время, проведенное в должности военного корреспондента, поэт опубликовал на страницах «дивизионки» более 60 материалов — стихи, заметки, очерки. Материалы подписаны: «Гвардии лейтенант Георгий Суворов», инициалами — «Г. С.» или же, наконец, псевдонимом «С. Георгий». Однако нужно учитывать, что многие заметки шли без подписи; кроме этого, военные корреспонденты занимались так называемой организацией материалов, то есть помогали бойцам писать заметки в газету, редактировали их.

Подписанные материалы представлены в основном стихами и очерками. Стихи рассказывали о боях, о героях дивизии, воспевали массовый героизм советских людей, призывали отстоять Родину, Ленинград, не щадить захватчиков. Вот характерные названия: «Жизнь за командира. Бойцу Негриенко», «Неумирающее имя», «Так бьется коммунист», «Путь к победе», «Богатырь», «Священный автомат», «Ленинград» и другие.

Газетная работа требовала от поэта оперативности во всех стихотворных жанрах, требовала мгновенного решения любой темы. Писал Г. Суворов и агитки, призывающие бойцов подписываться на облигации денежного займа, чтоб «хруст бумаги стал скрежетом граненого штыка». Интересно сравнить эту агитку с другой — «Чтоб крепла сила, молодость твоя…», написанной и опубликованной еще в Омске. Показательно, насколько лаконичнее, убедительнее решает поэт теперь эту агитационную тему.

Разумеется, требования оперативной газетной работы в условиях действующей армии наложили определенный отпечаток на произведения — торопливость, открытая привязанность к отдельному факту — это было необходимо, естественно. Но поэт публиковал на страницах газеты и стихи, полные глубоких обобщений, в которых как бы найден художественный эквивалент духовному подъему простого советского солдата; хотя эти стихи тоже посвящены конкретным солдатам, например стихотворение «Сквозь смерч огня» — гвардейцу Соломонову:

— Пройду! — ответил он. — Пройду! Прорвусь! —
И дрогнул торф. И вспыхнуло болото.
Пошла вперед гвардейская пехота.
Пошла вперед разгневанная Русь.

Писал Суворов, как выясняется теперь, и прозу.

В основном это были распространенные во фронтовой печати очерки, обобщавшие опыт героических солдат и офицеров. «Само собой, — пишет П. Глинкин в книге „Страницы подвига“, — что военный очеркист, корреспондент армейской газеты, вообще журналист не только следовал велению сердца в поиске объекта исследования, его выбор героя, ситуации, художественное решение темы определялись прежде всего злобой дня… Пропагандистская направленность, откровенная агитационность придают специфику всему искусству той поры».

Перед военным корреспондентом Суворовым стояла задача не просто рассказать о герое, а нарисовать его облик, его путь к подвигу, рассказать читателям-бойцам о «секретах» его солдатского мастерства и при этом постараться дать обобщенный образ советского чудо-богатыря. Таких очерков поэт написал около двух десятков, печатались они в основном «в подвале» второй полосы и были приблизительно одинаковы по размеру — 100–120 газетных строк.

Вот очерк «Разведчик Капшуков», начинающийся с рассказа о том, как опытный разведчик учит новичков: «Зеленая равнина. Болото. Лес. Как бы отрезая равнину от болота черной извилистой чертой, идет наша траншея. В лесу „противник“.

Командир разведывательной группы гвардии красноармеец Капшуков ставит задачу молодым разведчикам. Опытный солдат, он знает, как можно скрытно подойти к врагу. Теперь учит этому других…»

Далее Суворов переносит читателя уже во фронтовую обстановку. Интересно отметить, что и в прозе он мастерски дает пейзаж, находит точные детали, точные сравнения. Короткие предложения создают настроение надвигающейся схватки: «Июньский день. Солнце кровавым пятном отражается в Неве. На берегах ни души. Тишина. Только изредка где-то в расщелинах берегов поблескивают стекла перископов. Томительная это работа. Но разведка — это прежде всего выдержка. А выдержке Капшукова учить не надо…» Прослеживается во фрагменте и другая особенность, свойственная Суворову прежде всего как поэту, — стремление к афористичности: «разведка — это прежде всего выдержка». Далее рассказывается о том, как благодаря

внимательности Капшукова удается засечь и расстрелять замаскированное фашистское орудие.

> «И вот, — продолжает автор, — грянул боевой сентябрь 1942 года. Капшуков с группой бойцов получил приказ наладить связь подразделения с командиром части и обозначить передний край.
>
> Лодка закачалась на Неве. С обоих флангов ударили по ней немецкие пулеметы. Мины и снаряды подняли фонтаны воды. Над переправой нависли „юнкерсы“. Но лодка шла. Разведчики молчали. Капшуков, припав к носовой части, выбирал место для причала. Гребцы гребли. Еще минута, и разведчики гуськом где в полурост, где ползком продвигаются к переднему краю. Капшуков на ходу по цепи передал последний наказ бойцам: „Передний край наносить на карту точно. От нашей работы будет зависеть все“.
>
> Капшуков расположился на высотке. Оттуда он мог легко наблюдать за противником, изучая его передний край. Адская это работа. Над головой то и дело летели пули. Земля, поднятая снарядами, не один раз засыпала его с головой. Он выкарабкивался из-под земли, быстро переползал на другое место, и снова на карту ложилась черная черта переднего края гитлеровцев.
>
> Теперь на опыте старого солдата разведчики учатся добывать победу. Они ее добудут».

Рассказам о героях посвящены почти все очерки Г. Суворова — «Александр Марков», «Наводчик Юрьев», «Ленинградец», «Комсомольский вожак», «Разведчик Василий Ольховский», «Разведчик Комаров», «Путь к победе», «Гвардеец», «Комсомолец Шутько», «За родной Ленинград» и другие.

В одних на первый план выступают черты портретного очерка: «Здоровые, крепкие руки. Сдержанные, но уверенные движения. Сутуловатая фигура. И на мужественном лице темные сосредоточенные глаза, опаленные дымом не одного такого боя…» («Разведчик Азанов»). В других случаях это военно-путевой очерк — широкий по охвату событий ленинградской эпопеи рассказ, в который как бы вкрапливаются конкретные боевые эпизоды: «Немцы били на дальних подступах к Ленинграду. Их бомбы ударили по историческим памятникам Новгорода. Длиннохвостые стервятники на бреющем полете проносились над Ленинградской областью, расстреливая женщин и детей…» («Под Сольцами»).

Проза и поэзия Георгия Суворова, конечно, не были

изолированы друг от друга: в очерки приходили яркие образы, характерные для его стихов, а эпизоды, о которых поэт рассказывал в очерках, находили свое выражение в стихах. Работа военного корреспондента давала возможность поэту широко знакомиться с фактами массового героизма.

Интересно в этом отношении сравнить очерк «Комсомолец Шутько» со стихотворением «Хотя бы на минуту на роздых…». В очерке рассказывается о боевой группе, которой командовал боец Яков Шутько, корректировавший с территории, занятой противником, огонь нашей артиллерии. «Когда лавина озверевших фашистов бросилась на горстку оборонявшихся бойцов, Шутько склонился над рацией и передал: „Дайте огонь на меня“. Десятки снарядов окаймили гарнизон. Немцы откатились…» Этот же эпизод лег в основу стихотворения, воспевающего отвагу советского солдата:

И рухнули наземь звезды,
И парень, гранату подняв,
С кровью выхаркнул в воздух:
— Огонь, огонь на меня!..

Конечно, вряд ли можно говорить о фронтовых очерках поэта как о безусловных художественных удачах — торопливость, недостаточно отточенное мастерство прозаика и другие условия сказывались на их уровне. Но не это для нас важно. «Война, — пишет П. Глинкин, — не любит литературных белоручек… Действительно, никогда литературный универсализм не был столь обиходен, как на фронте. Поэты становились прозаиками, прозаики писали стихи, а критики научились делать и то и другое».

Но главным для Суворова все-таки оставались стихи, писать которые он «не бросал ни на минуту». Одни из них появлялись на страницах газеты «За Родину», другие ждали своего часа в полевой сумке поэта-гвардейца. Н. Тихонов вспоминал: «Его полевая сумка была переполнена стихами. Стихи эти были самые разные, хорошие и плохие, незаконченные и зеленые, как маскировочные еловые ветви, прикрывающие снайпера, стихи, посвященные всему, что волнует сердце молодого поэта-воина…»

Суворов продолжал поддерживать отношения со своими знакомыми сибирскими писателями Дравертом, Мартыновым, Смердовым. Он посылает им новые стихи, некоторые из которых появились в «Омском альманахе», сборнике «Родина», вышедшем в Новосибирске в 1944 году. Его старшие товарищи отмечают творческий рост поэта. Так, Мартынов, пристально, с

удовольствием следивший за развитием своего ученика, писал, предваряя его новые стихи: «…в боях с фашизмом превратился из рядового красноармейца в лейтенанта Георгий Суворов… Мы увидели новые стихи старого знакомого Г. Суворова в конверте со штампом полевой почты действующей армии… Прекрасные стихи пишет лейтенант Суворов. В войне с фашизмом окреп и вырос его талант, недаром о Георгии Суворове не однажды упоминалось в военной печати, недаром старший собрат — ленинградский поэт Николай Семенович Тихонов тепло встретил нашего поэта-лейтенанта и открыл ему дорогу в большую прессу».

К Тихонову Суворова всегда влекла суровая романтика автора «Орды» и «Браги». «Это был его главный поэт», — вспоминает Юдалевич. Причем влияние Тихонова сказывалось не в копировании Суворовым каких-то внешних черт «поэта романтического подвига», а в творческом восприятии «романтической доминанты поэзии Тихонова — утверждении героизма, суровой доблести самопожертвования, утверждении красоты железной дисциплины, культа верности долгу». Свое отношение к поэзии Тихонова как к источнику жизнелюбия и отваги Суворов выразил во фронтовых стихах, написанных уже после знакомства с ним и посвященных автору «Браги»:

Я снова пьян и юностью богат.
Не оторвать мне губ от пенной «Браги».
Я пью огонь, живой огонь отваги.
Я пробую клинок. Я — вновь солдат.

Сближала с Тихоновым Суворова и другая общая черта: глубокий интерес к жизни других народов, необоримая тяга к странствиям.

Сначала Николай Тихонов услышал о поэте-офицере с громкой полководческой фамилией от знакомого майора, прочитал его стихи, ходившие в списках. Стихи понравились. А потом состоялось и знакомство в квартире на Зверинской улице.

«Уже вторая военная осень осыпала улицы листьями всех цветов, — вспоминал Тихонов, — и в комнате, походившей на каюту много видевшего бурь корабля, было темновато, когда ко мне прямо с переднего края пришел Георгий Суворов.

Почти таким я и представлял его себе. Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопросы: „Кто пойдет в самое пекло?“ — отвечают, делая шаг вперед: „Я пойду!“». С того мига их связала та светлая мужская дружба, которая и должна связывать двух поэтов — учителя и ученика. «Когда я долго не

видел Суворова, я скучал о нем, — признается потом Тихонов, — мне было радостно думать, что где-то в блиндаже при коптилке этот сибиряк на Неве пишет стихи».

А сам Георгий был тем преданнейшим, восторженным и верным учеником и товарищем, какие нечасто встречаются в жизни даже очень большим художникам. Уже в предсмертном бреду на медсанбатской койке он твердил одно имя — имя Тихонова.

Встреча со своим «главным поэтом» имела для Суворова огромное значение. Тихонов действительно «открыл ему дорогу в большую прессу», ибо пользовался высоким авторитетом и как замечательный поэт, и как руководитель Ленинградской писательской организации. В течение 1943–1944 годов стихи поэта постоянно появляются в журналах «Ленинград» и «Звезда». «Выслал тебе журнал „Звезда“, — пишет он сестре. — Этот журнал печатает мои вещи регулярно. Жду выхода книги своих стихов».

Впервые о своей будущей книге поэт заговорил в сентябре 1942 года, когда познакомился с Тихоновым. В письме сестре читаем: «В Ленинграде я увиделся с поэтом-орденоносцем Николаем Тихоновым. Мои стихи ему понравились. Он написал письмо командиру нашей дивизии (Краснову А. А. — *Ю. П.*), и я на днях еду опять в Ленинград для издания книжки своих стихов». И в дальнейшем в редком письме поэт не говорит о желанном сборнике, о перипетиях, связанных с его изданием, — «книжка еще не вышла, очень трудно здесь с изданием. Сама понимаешь: Ленинград — город-фронт. Но надежды не теряю: в журналах и альманахах издаюсь все время». Книга была необходима Суворову кровно, он вступил в ту пору творческого развития, когда на пройденный этап нужно взглянуть как бы со стороны, а это значит — нужно издать книгу. Но, к сожалению, очень медленно «пережевывала типографская машина», пользуясь словами поэта, его сборник. В Нарвском музее я обнаружил внутреннюю издательскую рецензию, в которой рецензент Т. Хмельницкая дает высокую оценку произведениям Георгия Суворова: «Поэзия Суворова отличается большой искренностью, свежестью, неподкупной правдивостью выражений, подлинной чистотой чувств. Он великолепно видит и воплощает природу родного края, он не только чувствует, но и углубленно мыслит в стихе, стараясь передать свою мысль в сжатых, содержательных, продуманных и глубоко пережитых строках. Но во многих стихах Суворова чувствуется еще поэтическая незрелость. Поэт далеко не всегда находит слова, адекватные характеру и сущности выражаемого…»

Георгий Суворов, пользуясь каждой свободной минутой, продолжает упорную работу над сборником. В его полевой сумке появляется самодельная тетрадка, на обложке которой написано: «Стихи в дополнение к сборнику „Слово солдата“» — это тридцать стихотворений, большинство из которых впоследствии вошли в книгу «Слово солдата». Нужно сказать, это строгое и емкое название пришло к поэту не сразу. «Из его стихотворений, — вспоминает Н. Тихонов, — постепенно собиралась первая книга, которую сначала он хотел назвать „Тропа войны“. Было у него такое стихотворение, где говорилось и о Сибири, и о войне. Но потом решил переменить название».

«Надо назвать проще и точнее, — говорил он. — Я солдат. И книгу назову „Слово солдата“».

Общение с Тихоновым, знатоком литературы, блестящим воспитателем литературной смены, несомненно, ускорило творческий рост Суворова. Он получил возможность читать свои новые вещи доброжелательному, но строгому читателю, перед ним был пример поэта, умевшего органически сочетать высокую гражданственность с подлинной художественностью. Вместе с тем нет оснований говорить о некоем прямом, непосредственном отражении стиля Николая Тихонова в творчестве его молодого ученика. Справедливо отмечает Сергей Наровчатов, что «тихоновский стиль мало чем отпечатался в стихах Суворова. Разве что афористичностью отдельных строк, и особенно концовок. В Тихонове молодой поэт искал и нашел нравственное соответствие своим поступкам и стремлениям…». Тем не менее нужно сказать, что в некоторых стихах Суворова все-таки ощущается влияние, скажем, тихоновского ритма — ритма шагов идущего по ночному городу Кирова:

Снегов помутневшая россыпь
На скованном льдом берегу.
Окопы. Воронки. Заносы.
Багрянец крови на снегу.

…Поэт всегда развивается в поэтической атмосфере своего поколения, его творчество испытывает на себе как притягивающие, так и отталкивающие силы литературной традиции, творчества современников.

О взаимоотношении Георгия Суворова с представителями его поэтического поколения, «стихотворцами обоймы военной», пользуясь выражением Александра Межирова, следует сказать особо. Как мы знаем, еще в омский период Суворов общался со своими ровесниками — поэтами Ливертовским, Копыльцовым и

другими. Но все-таки вряд ли можно сравнить их общение с той напряженной и бурной литературно-общественной жизнью, которой жили его юные товарищи по перу в Москве, студенты Литинститута, МГУ и ИФЛИ Наровчатов, Коган, Майоров, Кульчицкий, Отрада и многие другие. Понятно, что литературная жизнь столицы, знакомства со многими мастерами слова более способствовали расширению их кругозора, разнообразию их поэтических поисков. Однако нельзя сказать, что Суворов был совершенно в стороне от исканий своего поколения. Как вспоминает Наровчатов, стихи некоторых ровесников, например Михаила Луконина, он знал «по публикациям в довоенных журналах». Попав же на Ленинградский фронт, поэт-офицер сразу окунулся в насыщенную литературную жизнь фронтового города. «Георгия Суворова, — вспоминает Тихонов, — на Ленинградском фронте скоро узнали многие. Слухом земля полнится, а братьев-литераторов в армии было много, и стихи сибирского поэта стали известны, тем более что некоторые из них печатались не только во фронтовой печати». Вскоре в редакции газеты Ленинградского фронта «На страже Родины» или на квартире Тихонова Суворов познакомился со многими товарищами-литераторами. Он встречался с Михаилом Дудиным, Сергеем Наровчатовым, Павлом Шубиным, Иваном Курчавовым, который вспоминает, как на квартире Тихонова Суворов познакомился с Фадеевым. Во время встреч Суворов узнавал, над чем работают его товарищи, в каком направлении ведут поиски, — все это оказывало несомненное влияние на его собственные произведения. «Нас проникало, — писал Наровчатов, — удивительное чувство общности молодой поэзии, и тысячи километров, отделявших нас от друзей, даже метрами не казались». Это чувство общности определяло и созвучие стихов, мотивов у поэтов, совершенно не знавших друг друга. Интересно сравнить в этом отношении строки стихотворения Николая Майорова «Мы» и Георгия Суворова «Месть».

Майоров:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли недолюбив,
Недокурив последней папиросы…

Суворов:

Мы стали молчаливы и суровы,
Но это не поставят нам в вину.
Без слова мы уходим на войну.
И умираем на войне без слова.

Едва ли Суворов мог читать эти стихи своего собрата, частично опубликованные в 1940 году в газете «Московский университет», но он мог их слышать, например, от Наровчатова, который вспоминает, что во время их встречи шел разговор и про Майорова, о чьей гибели еще не было известно. Немалое влияние оказал на Суворова и его ленинградский товарищ Михаил Дудин, которому он посвятил свое самое известное стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…». Очевидно, что творческое развитие Суворова во фронтовой период происходило в тесном взаимодействии с поэтическим развитием своего поколения «стихотворцев обоймы военной».

Суворов был не только создателем поэтических произведений, но и пропагандистом советской поэзии среди воинов. «Поэт на фронте, — писал Наровчатов, — всегда является пропагандистом поэзии в целом… Георгий Суворов обладал отличной памятью, и его солдатские слушатели могли, наверное, пройти вместе с ним сокращенный курс Литинститута, если б на то хватило времени и возможностей». Сергей Наровчатов вспоминает также о тесном контакте, возникавшем у Суворова с солдатской аудиторией: «Солдатский читатель стал нашим главным и единственным учителем в годы войны. Именно ему должно отдать поклон за науку фронтовое поколение поэзии. Одним из тех, кто до конца усвоил этот урок, был Георгий Суворов».

В канун январского 1944 года наступления, вероятно в ноябре 1943 года, Суворов подал заявление о приеме его кандидатом в члены ВКП(б). Наступления, которому предстояло окончательно снять блокаду и отбросить фашистов от Ленинграда, поэт ждал, по словам Н. Тихонова, «как праздника». И в бой он мечтал пойти коммунистом. К сожалению, по отношению к поэту была проявлена та же несправедливость, что и когда-то при его вступлении в комсомол. Леонид Решетников в очерке «К портрету моего современника» упоминает об этом случае, правда допуская некоторые неточности: речь шла о приеме не в члены ВКП(б), а кандидатом в члены ВКП(б). Кроме того, он отмечает, что «при рассмотрении заявления кто-то высказался против, имея в виду, возможно, еще недостаточный боевой опыт Г. Суворова».

Председатель Совета ветеранов дивизии, в которой служил поэт, К. В. Кононов, бывший в то время офицером политотдела, вспоминает об этом случае: «…не было сомнений в „недостаточном“ боевом опыте Г. Суворова. Не было сомнений в его „готовности отдать всего себя Родине“. Мы знаем, кто высказался против на заседании парткомиссии. У человека, воевавшего с 1941 года, пролившего свою кровь, был боевой опыт, и не было в этом сомнений. Вопрос свелся к истории отца, которого они с сестрой потеряли в юности. Что мог сказать о нем Георгий? Да и не нужен был этот вопрос. Такую ошибку допустили товарищи, ошибку неоправданную. А Георгий погорячился, решил что-то доказывать… Мы же, политотдельцы, «прозевали», поздно спохватились… Сознаем и сожалеем об этом. Знали и знаем, что он в сердце и в делах был коммунистом».

Глубоко обиженный этим недоверием, Суворов подал рапорт с просьбой откомандировать его из газеты в свой взвод противотанковых ружей. С 25 ноября в газете «За Родину» перестают регулярно появляться материалы за подписью «Гвардии лейтенант Г. Суворов». Правда, в канун наступления в газете были напечатаны его маленькая заметка «Солдатская сметка», рассказывающая о бойце, находчиво воспользовавшемся в бою ракетницей как стрелковым оружием, и стихотворение «Соколиная», написанное в жанре походной песни и полное того высокого подъема, который охватил армию в канун наступления:

Снежный ветер в поле воет.
Путь-дорога длинная.
Грянем, братцы, да сильнее,
Песню соколиную!

Стихи были опубликованы 9 января, а 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская операция, в которой активное участие принимала 45-я гвардейская дивизия, 21 января получившая почетное наименование Красносельской за бои в районе города Красное Село. Это было последнее отличие соединения, свидетелем которого был гвардии лейтенант Суворов. «Мы быстро продвигаемся вперед, гоним немца с нашей земли, — пишет он сестре. — Все кругом сожжено и уничтожено фашистами, многие советские люди угнаны в Германию. Чувствую себя отлично. Командую бронебойщиками. Это очень интересно. От Ленинграда ушли очень далеко. Собственно говоря, мы у эстонской земли…»

Иногда говорят о том, что поэты как бы предсказывают свою смерть, что тема смерти, появляющаяся в стихах, предвещает

гибель реальную. В доказательство приводят классические примеры: Лермонтов, Есенин… Что ж, это грустно, но понятно: поэт — человек, обладающий обостренным чувством пути, а у пути, как известно, есть начало и конец. Кстати, наше поколение воспитано так, что о неизбежном окончании пути мы как-то не думаем, а значит, и жизнь свою зачастую планируем, строим, как будто впереди у нас вечность. И не в этой ли бодренькой уверенности, что «все еще впереди», истоки инфантильности немалой части молодых? И опять я призываю тебя, читатель, сверить свою душу, свою жизнь с судьбой того поколения, с судьбой Георгия Суворова.

«Мои сверстники, — писал Наровчатов, — спокойно относились к возможности собственной гибели. У многих из нас были стихи и о своей смерти, которая угадывалась в будущих боях». Молодой, сильный, жизнелюбивый Суворов жил в постоянной готовности к смерти, которая если и проходила мимо, то, значит, это стоило жизни кому-то другому. «Вначале было неприятное ощущение того, что через минуту можешь умереть, — признавался Георгий в письме к сестре. — Постепенно привык. Научился воевать». Да, веря, что «вновь придет к своим таежным тропам», веря в свою поэтическую судьбу, веря в большую и настоящую любовь, которая впервые пришла к нему на фронте, поэт внутренне был постоянно готов к смерти. И это мужественное, скорбное чувство не могло не стать стихами:

Когда ж найдут меня средь мертвых тел,
С улыбкой грустною кивнут на ветер:
— Он весело страдал и сладко пел… —
А может быть, и вовсе не заметят.

Но этот мимолетный мотив — естественный, когда вокруг столько смертей, подчас и вправду безвестных и незаметных. Нет, конечно же, Суворов был уверен в памяти товарищей, а главное — в отмщении:

Ведь вспомнят и о нас, как мы сурово
В последний раз припомнили о нем:
— Он был средь нас… Товарищ мой, ни слова,
Мы в честь него ударим в ночь огнем!

Вот еще строчки из никогда не публиковавшегося, да, впрочем, и не дописанного до конца стихотворения «Художник», которое я нашел в полевой сумке поэта, хранящейся в Нарвском

городском музее:

…Я видел, как застыл он на сугробе,
Когда рвануло землю перед ним,
Как он взглянул на струйки алой крови,
Как стал глотать он розоватый дым.

Потом друзьям, испытанным солдатам,
На кровь свою глазами указал:
— Она врагам покажется закатом,
Но как рассвет стоит в моих глазах…

Именно так все и случилось 13 февраля 1944 года: при форсировании скованной льдом реки Нарвы поэт был смертельно ранен осколками вражеского снаряда, разорвавшегося посредине боевых порядков взвода, который он вел на левый, эстонский берег. Суворов умер в медсанбате на следующий день, 14 февраля, и был похоронен в братской могиле на берегу Нарвы возле деревни с есенинским названием Криуши.

Суворова не стало: оборвалась одна из двадцати миллионов жизней, которых стоила Победа. Навсегда исчезла целая вселенная, неповторимый, невозвратный мир, носивший красивое имя — Георгий Суворов. И сейчас, наверное, впору заговорить о стихах, сохранивших его душу, переживших прах поэта. И об этом я обязательно скажу, но не сейчас. Смерть завораживает, как огонь. Вновь и вновь заставляет задуматься о тайне и смысле бытия. Помните, как заканчивается «Поединок» Куприна: Ромашов убит. И эту роковую грань писатель дает почувствовать, противопоставив живому голосу предыдущих страниц бесстрастные строки военного рапорта. Именно с таким чувством я читал извещение о гибели поэта:

Форма № 4. Копия

Серебряковой Тамаре Кузьминичне

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19

Ваш брат гв. лейтенант Суворов Георгий Кузьмич, уроженец Красноярского края, Краснотуранского р-на, с. Краснотуранское, в бою за социалистическую Родину,

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 18[2] февраля 1944 г. Похоронен в районе Красненска Эстонской ССР.

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР № 240 1943 г.

Военный комиссар *ПИРЕНКО* Нач. АХЧ РВК —
(подпись)

С подлинным верно: управделами Александрова.

А вот строки из письма, которое написал сестре поэта его фронтовой друг Олег Корниенко:

«Здравствуйте, Тамара!

Извините меня, что я так долго не сообщал о Гоше. Я не мог это сделать, пока не был сам точно убежден в правдивости случившегося несчастья.

До этого времени *я* не имел возможности узнать, слухам, которые ходили, не верил. Вчера я был в том медсанбате, в который Гоша попал по ранению. Там точно узнал, что Гоша умер от ран… Видеть его раненым мне не пришлось, так как мы находились в разных подразделениях. Видел его связного, то есть бойца, который сопровождал его. Он рассказал, куда Гошу ранило. Его ранило осколками разорвавшегося снаряда в лицо (перебило нижнюю челюсть), в живот и в ногу. Перебило кость.

Тамара, вы извините, что я сообщаю об этом так жестоко и прямо, но лучше знать сразу и бороться с переживаниями, чем мучить себя разными предположениями… На войне все так получается. Сегодня ты с другом, а завтра может быть, что тебя нет в живых. Но оставшийся мстит этим фашистским мерзавцам за смерть друга…»

«Его талант железом утвержден…»

Жизнь поэта может сложиться по-разному. Как правильно заметил один мудрый писатель, поэзия не профессия, а состояние души. «Как же так? — может возразить читатель. — А почти десятитысячный отряд членов Союза писателей СССР, одно только перечисление которых (вкупе с адресами и телефонами) составляет толстенную книгу? Разве для них это не профессия — писать? Все верно, профессия «литератор», то есть человек, посвятивший жизнь литературной деятельности, безусловно имеется, а уж поэт ты, прозаик или драматург… Это и вправду состояние души, которое и меняется порой со временем. Может быть, поэтому в «краснокожем» писательском билете — заветной мечте многих молодых литераторов — жанр (кто ты — драматург, поэт, прозаик) не указывается, а просто: фамилия, имя и отчество, номер удостоверения. Не будем гадать, как бы сложилась жизнь поэта после войны (еще С. Наровчатову он говорил о своей мечте поступить в Литературный институт), но и того, что он успел написать, достаточно, чтобы говорить о нем как об одном из талантливейших поэтов, родившихся «в огне великого испытания».

Остались стихи, запечатлевшие нравственный подвиг советских людей в годы войны, поэтический дневник человека, отдавшего свою жизнь за Родину, стихи, в которых подлинная, кровью оплаченная гражданственность и партийность соединены с яркой талантливостью, с той художественностью, которая делает стихотворные строчки (а кто не слагает их в определенном возрасте и душевном состоянии?) фактом духовной жизни народа, явлением большой литературы.

Для истинного поэта стихи — самое главное, это оправдание и смысл жизни. «Мои стихи… — шептал умирающий Валерий Брюсов, который, как известно, был еще и прозаиком, переводчиком, литературоведом, историком, издателем, педагогом, государственным деятелем, — мои стихи…» Так Суворов, подобно верующему, твердящему перед смертью имя Бога, умирая, звал своего главного поэта, может быть надеясь, что сама Поэзия не всем понятной, но огромной силой поможет ему выжить. Выжили его стихи. Именно выжили, потому что и поэтические строки испытывают разрушительную силу медленного урагана времени: и порой строки, восхищавшие нас пять лет назад, вызывают ныне ироническую усмешку и чувство неловкости за себя тогдашнего. А стихи Суворова вот уже четыре десятилетия волнуют читателей, учат самому важному — умению

любить жизнь и умению бороться за нее.

Снова и снова вчитываюсь в его строки. Совершенно прав Владимир Соколов, утверждая, что

Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод и жар.

И все же, если говорить о школе, о стилевой направленности поэзии Георгия Суворова, то со всей ясностью нужно определить: он был романтиком. Его романтическое видение мира начало складываться еще тогда, когда он с ружьем бродил по лесистым Саянам, дружил с плотовщиками и чабанами, слушал рассказы о красных партизанах, которые в устах хакасских сказителей более походили на легенды о богатырях — алыпах; когда молодой сельский учитель попытался в поэтических строчках выразить свой восторг перед сказочной хакасской землей, перед теми грандиозными преобразованиями, которые переживала вся многонациональная Россия. А потом армия, фронт. Личный боевой опыт, образцы невиданного мужества и героизма слились в сознании поэта с романтическими традициями русской воинской поэзии. Фронтовая поэзия Георгия Суворова — это поэзия героико-романтическая. Да он и сам понимал особенность своего дарования:

Стой! И послушай шорохи зари,
Пусть рвется слово. Но не говори!
Не говори… Об этом будет песня.

А ведь кругом шла война: смерть, кровь, примеры не только мощи, но и нищеты человеческого духа — все это было перед глазами Суворова. Можно двояко бороться с этим силой слова: писать об этом гневно и страстно или со всей силой души противопоставлять этому свой героический идеал, — именно таков был принцип Суворова. Можно возразить, что в условиях военной печати, в силу ее специфики, появление стихов первого типа было зачастую невозможно. Это верно, но они оставались в записных книжках и потом составляли основу послевоенных книг поэтов-фронтовиков. Главное, что они были. Среди многочисленных не публиковавшихся при жизни произведений Суворова практически нет ни одного, где он бы отказался от своего романтического принципа типизации. В его

художественную задачу входило создать высокий, романтический образ советского воина-освободителя. Приведу очень характерный пример. Как, казалось бы, в условиях военного времени можно было писать о солдате, попавшем в плен? А все-таки и тут поэт не отступает от своего принципа. Он пишет о «звериных черных лапах, легших на тело молодое в неравной схватке взятого воина». Он обращается с гневной отповедью к Германии, «клеймящей своим позором бойца прекрасные черты».

Сами поэты остро ощущали этот возросший героико-романтический пафос советской поэзии. «В самом деле, что случилось с такими словами, как слова „победа“, „битва“, „счастье“, „могущество“, „Родина“, „смерть“, „жизнь“, „месть“? Раньше это были слова условного, „высокого“ стиля. Сейчас они вошли в наш быт», — писал Н. Тихонов.

Нередко обращается поэт и к романтической символике. Наиболее типично в этом отношении стихотворение «Чайка». Эти птицы являются, по мысли автора, символом бесстрашия, активного отношения к бытию:

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня…
Зачем же в самый вихрь огня?

Что гонит? Что несет ее?
Не спрячет серебро свое…

.....

Зачем?
Но разве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?

И крикнул чайке я:
— Держись!
Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь!

Характерно, что это стихотворение чрезвычайно ценил Николай Тихонов. В выразительности образа чайки явно ощущаются традиции русской революционной романтики — «Песни о Буревестнике» и «Песни о Соколе» Горького. Романтизм Суворова был не книжным, придуманным, уводящим от жизни, а был рожден в самом кипении жизни, ознаменовал творчество

поэта, писавшего на линии огня, видевшего в жизни немало злого, недоброго, несправедливого и все-таки с романтической страстью мечтавшего о том,

Чтоб то, что было вечной болью
Твоей души, всех дней твоих,
Легло и умерло с тобою
В один неотвратимый миг.

Но только б жило, только б жило, —
Чему в веках не потускнеть,
Вот та единственная сила,
Сбивающая с толку смерть.

И такой «силой, сбивающей с толку смерть», поэт считал прежде всего отвагу, героизм своих товарищей по оружию. Тема героя и подвига — ведущая во всем творчестве Георгия Суворова, многих его товарищей по перу.

Поэт сам подчеркивает, что такая отвага на фронте имела огромное агитационное значение, вдохновляющее значение — личный пример был сильнее любых самых горячих слов:

Нет! Никакой порыв и никакое слово
Нас так не повело б в летучий дым огня.
Мы видели тебя и шли вперед сурово…
И немец отступал. И плавилась броня.

Яркое воплощение получил в стихах Г. Суворова образ воина-коммуниста. Одно из стихотворений — «Так бьется коммунист» — посвящено «офицеру Чахлову», ведшему неравный бой до последнего патрона в автомате, до последней гранаты:

А в час, когда живым крылом рассвета
Багряный ветер сдвинул стену тьмы, —
Лишь только по партийному билету
Средь вражьих тел его узнали мы.

Однако нельзя сказать, что за романтическим образом воина-богатыря поэт не видел реальных трудностей войны. Слова гордости и славы сливаются с чувством скорби, ода подвигу сливается с реквиемом погибшему герою. Но даже гибель героя трактуется поэтом как начало легенды, вечной памяти о павшем:

Отсюда начинается легенда,
От этой темной с надписью плиты…

Героический пафос Суворова отмечали еще первые рецензенты его произведений. Так, Т. Хмельницкая писала: «Это настоящее „слово солдата“, это поэзия борца, закаленного фронтом, человека, у которого между поэтическим словом и реальным жизненным делом нет расхождения».

И сам поэт мыслил себя как певца воинского подвига, отводя себе скромную роль летописца солдатской доблести. Кстати, в устах Георгия Суворова слово «солдат» звучало как высшая похвала, свидетельство бесстрашия и ратного мастерства: «Вот уж поистине солдат, хотя с погонами майора…»

Тесно связана с темой героизма советских людей тема Родины во фронтовой поэзии. Причем образ Родины разрабатывался поэзией не только в «пространственном» плане, как необъятной земли, которая лежит, «касаясь трех великих океанов», но и во временном плане — великие исторические традиции, былые победы — это как бы залог несокрушимости в новом испытании. Недаром нынешние победы осмысляются как продолжение побед былых. П. Шубин, например, писал в одном из стихотворений о том, что над растоптанными танками фашистскими трупами как напоминание о прошлом стоят «сосны, может быть, времен еще ледовой сечи».

Обращение к Родине, клятва в верности ей чрезвычайно характерны для военной поэзии, но вместе с тем выражение этой сыновней любви в лучших стихах целомудренно, ненавязчиво. Все, что делает боец на войне, он делает для Родины, и необязательно каждый раз говорить об этом, готовность отдать жизнь убедительнее всяких слов. Это чувство очень точно выразил сверстник автора «Слова солдата» поэт Николай Старшинов, написавший с подчеркнутой суровостью, сдержанностью:

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.

Немало стихотворений, раскрывающих тему социалистической Родины, и у Суворова. Поэт не пытается сдержать своих чувств, обращение к Родине в соответствии с его

творческой манерой откровенно восхищенное, он не стесняется высоких, пусть не таких уж новых слов любви:

Жизнь дорога! — промолвит он друзьям. —
Но Родина дороже жизни нам!

Пишет Суворов и о славном прошлом страны. Одно из стихотворений он посвящает георгиевскому кавалеру сержанту М. Стетюхе, вкладывая в его уста такие слова о преемственности боевой доблести:

А он лукаво шевельнет
Заиндевелыми усами
И скажет: «Наш девиз — вперед!
России слава вечно с нами!»

Обращается он и к историческим параллелям и в других своих стихах («Гвардеец»), в некоторых очерках.

Однако своеобразие темы России у Георгия Суворова заключено не в исторических мотивах, которые он использует реже, чем другие, а в особом слиянии темы Родины и темы родной природы, которая как бы вселяет новые силы в бойца, вдохновляет его, говоря шире, поэт вообще видит в природе источник сил человека, его творческой активности. Поэт словно хмелеет от окружающей его красоты, на мгновение забывая о том, что вокруг война, «пламени и стали гулкий вал». Есть строки, где он стремится сформулировать суть взаимоотношений человека и природы:

Природы бессловесный крик
Поймай и всей душой почувствуй.
В ней нет ни мысли, ни искусства, —
Но в ней источник сил твоих.

Но природа не только вселяет силы, она с материнской добротой «принимает» павшего. Поэт отвлекается от суровой простоты человеческой смерти — боец словно успокаивается на груди родной земли, за которую отдал жизнь:

А за гарью, словно снег,
Ландыши без края.
Рухнул наземь человек —

Приняла родная.

Беспокойная мечта
Не сдержать живую.
Землю милую в уста
Мертвые целуют.

А цветы, привлекающие взгляд поэта, «колеблющие живую радугу», воспринимаются им «как память павших здесь в бою за жизнь, за Родину свою».

Органично связана с темой родной природы тема Сибири. В своеобычном переплетении образа «сереброокой Сибири» и фронтовой темы во многом заключается своеобразие поэзии Суворова. Очень точно почувствовал эту особенность земляк поэта Леонид Решетников: «Во многих стихах Г. Суворова просвечивает одна особая окраска, один оттенок. Оттенок этот принесен им из Сибири, из края его детства и юности… Этот оттенок окрашивает многие его стихи».

Расставшись с Сибирью, поэт все чаще обращается к ее образу в стихах. Размышления о Сибири — это размышления о Родине. В малоизвестном письме к П. Драверту в Омск поэт пишет: «Родина! Вот что встало передо мной. Родина — это очень широкое понятие. Тут можно рассуждать. Но когда узнаешь ее в мелочах — это очень трогательно. Я стал писать стихи, связанные с Сибирью. Их получилось много. Отдельные уже напечатаны. А часть попала в мой сборник „Слово солдата“, который должен выйти в свет». Речь идет о таких стихотворениях и поэмах, как «Тропа войны», «Сибиряк на Неве», «Косач», «Брусника», «Еще утрами черный дым клубится…», «Здесь все как в Сибири…», «Золото» и другие. Поэт среди военных будней постоянно вспоминает свою Сибирь, ищет в приметах среднерусской природы черты природы сибирской. Так, в глазах поэта «брусника как бы далекой родины привет».

Характерен для лирики Г. Суворова образ таежного охотника, готового платить «ценою крови и лишений за каждый шаг», но горячо мечтающего вернуться к своей тайге, к своим Саянам:

Но снежный вихрь мне не слепит глаза.
Смотрю вперед, смотрю через преграды,
Туда, туда, где черные громады
Гребенчатой дугой подперли небеса.

Характерно в этом отношении стихотворение «Косач»,

рассказывающее о встрече поэта, отдыхающего после боя, с косачом — птицей, хорошо знакомой охотнику-сибиряку. Не в силах выстрелить в прекрасную птицу, боец откладывает винтовку — он помнит охотничью примету: идя на крупного зверя, не должно стрелять птицу, иначе охота будет безуспешной. Но сейчас все мысли солдата о двуногом звере, уничтожать которого он поклялся «с суровостью сибиряка»:

…Мой выстрел, знаю, меток,
Но птица пусть свершает свой полет.
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
Кто птицу бьет, тот зверя не убьет.

Но для поэтов-сибиряков, в том числе и для Суворова, в годы войны типично не только обращение к сибирской природе, важное место в их творчестве занимает рассказ о подвигах своих земляков. «Слово „сибиряк“, —пишет Решетников, — являлось синонимом стойкости и сметки, самоотверженности и чувства локтя сражающихся солдат… Об этом необходимо помнить, когда мы обращаемся к нашей поэзии военных лет, и в частности к поэзии сибиряков». Поэтам-сибирякам было свойственно острое и гордое чувство того, что, по выражению Вас. Федорова, «в дни народных бед Сибирь стояла за Москвою». В небольшой поэме «Сибиряк на Неве» Георгий Суворов рассказывает о подвиге своего земляка, который

Как в тайге, по правилам охоты, —
Не убить страстей таежных в нем…
На глазах у всей фашистской роты
Он готов был злить ее огнем.

Герой поэмы погибает, не отступив ни на шаг под натиском фашистов.

Георгий Суворов писал о Сибири не только в стихах, но и в прозе. Как удалось выяснить, он был одним из тех сибиряков, кто откликнулся на появившийся в 1942 году знаменитый очерк Мартынова «Вперед, за наше Лукоморье!». Эти отклики были опубликованы вместе с очерком Л. Мартынова отдельной брошюрой. Вот что пишет Суворов, отвечая своему учителю: «Я слышу родные голоса. Снова я увидел мою сереброокую Сибирь. Увидел моих сибиряков. Увидел мои города. Мой Енисей, мой Иртыш, мой навсегда родной Абакан…

Этого не забыть!

Чем сильнее гул орудий, чем сильнее схватка с противником, тем яснее я в мыслях вижу мою Сибирь. Ее хлеб дает силы моим окопным друзьям. Ее руда тоннами летит на головы врагов. Ее леса мы ощущаем, сжимая глянцевое цевье автомата. Вот она, могучая Сибирь. Мы видим ее здесь, под Ленинградом, ломающую железную блокаду немцев».

Такой переход к образу блокадного города не случаен, ибо в творчестве Суворова темы Сибири и Ленинграда очень близки. Истоки этого поэт ищет в истории страны:

> «Схватка напомнила о сибиряках — любимцах Петра Первого. Петр Первый жив. Бойцы Ленинградского фронта видят город, ставший стеной на берегах Невы… Мы, сибиряки, снова пришли… Не быть черной блокаде. Рвутся снаряды. Это Сибирь обрушилась на головы немцев. Сибирь пришла, чтобы победить. Она победит!»

Ленинград, который поэт защищает с оружием в руках, как бы становится для него второй родиной. Он пытливо ищет черты сходства между сибирской и северорусской природой:

> Здесь все как в Сибири. Гляжу из окна:
> Такие ж цветы, такая ж трава.
> К реке с возвышений стекаются тропы.
> У нас — Енисей, а тут — Нева…

Тема блокадного города, героически выдерживающего натиск фашистских орд, стала одной из ведущих в творчестве Г. Суворова. «Сколько пережили ленинградцы, — пишет он в письмах к сестре. — Сколько испытали! Ты об этом должна знать из кинофильма „Ленинград в борьбе“. Смотришь на все это, и сердце наливается от гнева. Никогда мы не простим этого фашистам! Они разрушили наш Петергоф. Они разрушили пушкинский городок. Они били из дальнобойных орудий по прекрасным зданиям самого Ленинграда». Жители окруженного города испытывали невероятные лишения, больше всех страдали дети. Именно к ним — ленинградским детям — обращено стихотворение «Хоть день один, хоть миг один…», написанное, как вспоминает О. И. Мерц, специально для новогоднего вечера в одном из ленинградских детских домов. К ним, маленьким ленинградцам, потерявшим родителей, обращал поэт строки, полные веры в победу света над тьмой:

> И мы… хоть день, хоть миг один

Средь этих тягостных годин —
Мы будем петь и славить радость.
Среди крутых дорог войны
Мы встретим светлый день весны —
Мы встретим, дети Ленинграда!

Поэт со светлой верой вглядывается в «острый шпиль Адмиралтейства над багровеющей Невой». Но иногда, рисуя блокадный город, Суворов как бы дает выход накопившейся в сердце скорби, особенно когда он видит, какие опустошения принесла Ленинграду война:

Давно забыт и выветрен покой.
И в огнестрельных ранах тьма.
Одни дома… Дома передо мной,
Громадные дома.

Поэт сознавал, что предстоит еще много жертв во имя Победы. «Что им уже не победить — дело ясное. Но сколько еще жертв потребуется, чтобы свалить Гитлера! Сколько людей погибнет, народного добра, сокровищ культуры», — с горечью говорил Суворов Николаю Тихонову. В одном из своих последних писем он пишет Смердову: «Мне довелось испытать величайшее счастье — быть среди тех, кого обнимали и целовали освобожденные, избавленные от горя ленинградцы. Страшное это было счастье! Чтобы почувствовать все это, надо быть здесь».

Защищали и освобождали город сыновья многих народов нашей страны, и поэт, сам пришедший из далекой Хакасии, часто обращается в стихах к теме дружбы, сплоченности народов Советской страны. Как известно, планируя «молниеносную» войну, фашисты рассчитывали, что их удар мгновенно вызовет междоусобицу среди народов нашей страны и «лоскутное», по их мнению, государство развалится. Фашистская угроза, наоборот, сплотила народы. Выражая эту сплоченность защитников Ленинграда, пришедших из разных уголков страны, Суворов писал:

— Спасибо, мой окопный брат.
Откуда ты — не знаю я.
Ты мстишь, как я, за Ленинград, —
Твоя земля — земля моя!

В стихотворении «Хороший комиссар у нас» поэт рассказывает о бойце-грузине, для которого «месть — закон», в стихотворении «Дым черный, словно черный коршун…» — о пулеметчике-джигите Магдали. В поэме-легенде «Золото» Суворов повествует о своем земляке-хакасе, с которым повстречался на фронте. «Когда молчит военная Нева…», они вспоминают «свой цветущий край, свой Абакан, свой южный Карагай». Но вот закончилась короткая передышка, и земляки снова пошли в бой за Ленинград:

Орудия ударили вдали.
Мы обнялись, как братья, и пошли.

Это чувство братской сплоченности в борьбе с фашизмом составляет пафос стихов поэта, посвященных дружбе народов, — теме, чрезвычайно характерной для фронтовой поэзии в целом.

Проникновенные стихи посвятил Суворов фронтовой солдатской дружбе. Поэт утверждает, что ничто так не сплачивает людей, как боевые испытания, взаимовыручка в минуту смертельной опасности. По его мнению, нет ничего сильнее «любви боями спаянных друзей». С горечью вспоминает поэт о своих товарищах, оставшихся на полях сражений («Вспомним об убитом друге… И не скажем никому…»). Долг оставшихся в живых — отомстить за друга.

Во всей фронтовой поэзии громадное место занимает тема любви, верности. Общеизвестно, какой всенародной популярностью пользовалось стихотворение Константина Симонова «Жди меня», ставшая песней «Землянка» Алексея Суркова. Миллионам людей, разлученным войной, было необходимо слово о верности далекого родного человека. Долгое время считалось, что тема любви не занимала какого-либо значительного места в военной поэзии Георгия Суворова. Однако от этого мнения пришлось отказаться после того, как Решетников опубликовал ранее неизвестные стихи «Из полевой сумки», среди которых были очень характерные образы любовной лирики. Как замечает Леонид Решетников, «в конце 1942 года — в течение 1943 года он пишет несколько циклов о любви: „Первый снег“, „Сны“, „Во имя любви“. Название одного из этих циклов — „Первый снег“ — он хотел даже одно время перенести на обложку своей книги. Правда, стихи эти носят пока еще разведывательный характер. И это понятно: нравственный опыт любви сложнее и тоньше прочего житейского опыта и приходит к человеку позднее, часто — после самой любви».

Поэт утверждает любовь как победу светлого над тьмой

смерти. Автор понимает, что на первый взгляд любви «нет места на поле, изрытом войной», что «в мире смертельной тревоги» слово «люблю» звучит как «прости», но в то же самое время он утверждает, что на фронте нельзя без любви, потому что идущая схватка — это, собственно, и есть «сраженье во имя любви».

Верность сражающимся любимым людям — важная тема фронтовых стихов о любви. Боевой товарищ Г. Суворова О. Корниенко сообщает о приписке, сделанной поэтом на стихотворении, которое он подарил другу: «Победы и подвиги наши зависят от верности наших любимых». По мысли автора, любовь — это огромная сила, ведущая человека в бой во имя приближения встречи с любимой: «Если б я не хотел нашей встречи, разве был бы я в этом краю».

Самая горячая любовь уживалась с самой острой ненавистью — ненавистью к врагам. Суворов изображает врагов как нелюдей, с чувством брезгливого гнева. Вот как описывает поэт схватку бойца И. Герасимова с врагом в очерке «Символ победы»: «Вцепившись в загривок здоровенному откормленному немцу, он поволок его до нашей второй траншеи, пока тот не закатил свои рыбьи зрачки». Гневное сатирическое изображение фашистов Суворов продолжает в своем стихотворении «Последний комендант»:

Все растерял — и китель, и кресты,
По лестнице тряся тяжелым телом…

Суворов показывает бездуховность захватчиков, растаптывающих гусеницами своих танков культуру целых народов, стирающих с лица земли памятники человеческого творчества:

Пустыми жадными глазами
Смотрел немецкий генерал
На то, что есть еще за нами,
На то, что он еще не взял.

Конечно, условия военного времени, агитация в обстановке кровопролитной войны требовали от поэта известной прямолинейности, плакатной символики в показе врага, для изображения которого давалась временем только одна краска — черная. Но обличительный пафос и чувство нравственного превосходства имели реальную основу: советский солдат-патриот был действительно сильнее немца-захватчика. «Немец туп, —

писал Суворов в своем последнем очерке „Солдатская сметка“. — Действует как заведенная машина. Сломалась машина, и немец „сел“. Совсем другое дело — наш русский солдат…» Этот солдат видит свою миссию в том, чтобы не просто изгнать врагов со своей земли, но уничтожить самое логово захватчиков, принести свет «седой ночи Европы»; поэт обращается к фашистской Германии:

Тот день придет, придет тот миг,
Когда тебя, полуживую,
Растоптанную и слепую,
Весь мир навеки заклеймит.

Как и во всей фронтовой поэзии, в творчестве Суворова важное место занимает тема грядущей Победы. Он пишет П. Драверту: «Много еще боев впереди. Но я привык к ним, и грядущее не страшно. Скорей бы очистить дорогую землю от гитлеровской нечисти, вернуться домой в свои леса, в свою… Сибирь». Поэт мечтает о том времени, когда война станет для него уже воспоминанием, он использует своеобразный прием — глядит на войну как бы из мирного будущего:

Когда-нибудь, уйдя в ночное
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое
Бездомной юности моей.

Размышляя о смысле и назначении поэзии, Суворов продолжение своей жизни видит в том,

Что сын героя мой листок подымет,
И прозвучит ему героя имя
Во всей неповторимой простоте.

Думе о месте поэта, шире — художника — среди сражающихся бойцов посвящено стихотворение Суворова «Художник». По словам Н. А. Румянцевой, оно адресовано конкретному лицу — однополчанину поэта лейтенанту Панкратову. Но тем не менее мы можем утверждать, что в этом произведении Суворов как бы стремился взглянуть на свое творчество со стороны. Стихотворение, без сомнения, автобиографично, хотя герой его не поэт:

Солдат-художник, да, он славно колет,
Его талант железом утвержден…

Убеждает в этом и перекличка с мотивами стихотворения «Прощай, Сибирь!», написанного, очевидно, в 1941–1942 годах:

Я видел перед боем на рассвете:
Он рисовал на голубом снегу
Солдатских глаз неудержимый ветер,
Солдатских звезд летящую пургу.

(«Художник»)

Прощай, — в моих глазах, в моем сознанье
Всегда цвела ты, даже холодна…
И на снегу, как на волне сукна,
Я рисовал свои повествованья.

(«Прощай, Сибирь!»)

Война, по убеждению Георгия Суворова, закаляет художественный талант, отданный правому делу. Смысл искусства он видит в том, чтобы вдохновлять воина на бой:

Не ждал он ни похвал, ни восхищенья,
Но он торжествовал, когда солдат,
Взглянув на безымянное творенье,
Сжимал свой вороненый автомат.

Суворов сам ощущал, какой качественный скачок произошел в его поэзии под влиянием военных испытаний. Потом об этом скажут все без исключения исследователи. Но первым это почувствовал он сам, ибо слова «его талант железом утвержден» относятся прежде всего к самому автору.

Говоря об идейно-тематических особенностях фронтовой поэзии Суворова, нужно прежде всего иметь в виду общую направленность советской поэзии военных лет, обусловленную великой задачей разгрома врага, освобождения Родины и порабощенных фашизмом народов. Темы сражающегося народа, героя и подвига, любви и верности Родине были главными, основополагающими в поэзии времен Великой Отечественной войны. К этим темам, решая их с позиций коммунистической

партийности и социалистического патриотизма, обращались поэты всех поколений, всех темпераментов, всех стилевых направлений.

Героический пафос, мысль о желанной Победе пронизывают все многообразие тем военной поэзии. Поэты стремятся к философскому осмыслению происходящего. Конечно, с одной стороны, это осложнялось «полевыми» условиями, в которых приходилось творить: фронт требовал оперативности, четкости, определенной направленности поэтического высказывания, но ведь, с другой стороны, в этих стихах как раз и шла речь о таких «вечных вопросах», как жизнь и смерть, герой и подвиг, любовь и ненависть, Отчизна и иноземщина. Сам идейно-социальный уровень задач, стоящих перед военной поэзией, определял ее философскую глубину и значительность.

Этими же высокими целями было определено и жанровое своеобразие поэзии Г. Суворова. Здесь и характерные для гражданской лирики войны клятвы, призывы, отклики, песни, даже частушки:

Ладога, Ладога
Запомнится надолго,
Запомнится надолго
Битым фрицам Ладога.

Здесь и эпические жанры — стихотворный очерк, баллады, поэма.

Поэзия Великой Отечественной войны удивляет своим жанровым многообразием, которое отражает многообразие художественных задач, стоявших перед фронтовыми поэтами. Очень образно и точно пишет о жанровом развитии фронтовой поэзии И. Спивак: «Интересна жанровая „тактика и стратегия“ советской поэзии военных лет. Подобно тому как талантливый и вдумчивый полководец ведет глубоко эшелонированную битву с врагом, выпуская на поле брани не сразу все войска, а один эшелон за другим, так и советская поэзия распорядилась своими силами: она вводила в боевой строй один жанр за другим, все шире и глубже охватывая боевые позиции». Общее для всей поэзии развитие в направлении жанрового укрупнения и разнообразия — от лаконичного публицистического отклика-призыва через зарисовки, песню, балладу, стихотворный очерк до поэмы-эпопеи прослеживается в той или иной мере в творчестве всех поэтов, писавших о войне, в том числе и Георгия Суворова.

Особенно характерен для Суворова жанр посвящения: «пулеметчику Магдали»; «военному газетчику Маслину»; «бойцам-

комсомольцам Ященко, Ипполитову и Емец»; «старшему сержанту Парамонову и неизвестному бойцу, поцеловавшему вместе с ним землю отбитого у немцев левого берега Невы». А рассказывают эти стихи о конкретных людях, о подвигах товарищей поэта.

Такое изобилие посвящений объясняется не только тем, что этот жанр был распространен во фронтовой поэзии (вспомните хотя бы симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»), но и общительным характером поэта. Михаил Дудин, друживший с ним, вспоминает: «Суворов писал много. Он мыслил стихами. Он не печатал стихи. Он записывал их в самодельные тетради карандашом. Почти каждое стихотворение он от щедрой души посвящал кому-нибудь из товарищей. А в товарищах у него была вся дивизия».

Когда мы говорим о жанре того или иного суворовского стихотворения, не надо забывать и о том, что для фронтовой лирики показательна эволюция жанров, и часто стихотворение-клятва представляет собой сложный синтез на первый взгляд различных жанровых признаков. Например, в стихотворении «Тропа войны» поэт вспоминает о том, как он бродил с охотничьим ружьем по склонам Саян — повествовательная линия сливается с пейзажными картинами. Однако главный пафос произведения составляет клятва, которой заканчивается произведение. Беда разразилась над страной — и он клянется не оставлять ее до Победы.

Такое смещение жанров не случайно; автор берет от каждого наиболее действенные черты: от повествовательного стихотворения — сюжет, увлекающий читателя; от призыва, клятвы — эмоциональную афористичность, врезающуюся в память бойцу.

Говоря о жанрах, хочется подробнее остановиться на поэмах. Прежде всего потому, что обращение к поэме и есть одно из убедительных свидетельств поразительного творческого роста и работоспособности поэта на фронте.

В период войны был создан целый ряд поэм, вошедших в золотой фонд советской поэзии. Как ни удивительно, но именно в этот период, требовавший стремительности, оперативности, не дававший, казалось бы, художнику оглядеться, многие поэты обратились к созданию широких полотен. «В самой общей форме, — пишет Абрамов, — можно сказать, что поэма решала те же проблемы, что и другие жанры поэзии. Но решала их по-своему… поэты не могли удовлетворяться отдельными зарисовками, изображением отдельных эпизодов своей жизни и жизни своих современников. Их волновали и явления, не всегда посильные для лирического стихотворения или баллады: история

подвига, многосторонняя связь человека с временем, с развитием страны, более сложно, чем в небольшом стихотворении, раскрывающаяся судьба личности и народа…»

Обращение Суворова к поэме было органическим продолжением его художественного исследования народного подвига. Вспомним, что еще в омский период Суворов работал над поэмой, навеянной мотивами хакасского героического эпоса.

Стремление попробовать себя в героической поэме не оставляло поэта и на фронте. В 1943 году он пишет в письме А. Смердову:

> «Только что вышли из боя. Частичку о нашем бое ты прочтешь в „Правде“ за 10.8.43. Там есть заметка „Гвардейская стойкость — гарнизон Кузнецова“. Всех этих людей я знаю как своих друзей и сейчас пишу о них поэму. Ведь я прошел это пекло, и стих продлится —
>
> Нет, не по краткому рассказу,
> Не в дымке ало-голубой —
> Он встал передо мною сразу,
> Кровопролитный этот бой…
>
> Так начинается моя новая поэма „Четыре дня“…».

Действительно, в «Правде» была помещена заметка «Гвардейская стойкость», где рассказывалось о том, как «гвардейцы, зарывшись в землю, вызвали на себя огонь нашей артиллерии. Разрывы снарядов уничтожали немцев, герои-гвардейцы поднимались и добивали немцев штыками…».[3]

Этому событию поэт посвятил маленькую героическую балладу «Хотя бы на минуту на роздых… (полковнику Кузнецову)», рассказал об этом в прозаическом очерке. А поэма, которая мыслилась как героическая повесть о тех днях, так и не была написана, хотя нельзя исключать и вероятность ее утери. До нас дошли две поэмы Суворова — «Сибиряк на Неве» и «Золото»; первая из них была включена в сборник «Слово солдата», вторая опубликована Решетниковым в разделе «Стихи из полевой сумки» в сборнике «Соколиная песня». Оба произведения относятся к жанру лирико-романтической поэмы. Впрочем, очевидно это только для «Сибиряка на Неве», «Золото» же несет в себе черты героико-революционной, лирико-философской, сказочно-легендарной поэмы. Но в конечном счете жанр произведений определяет доминирующая в них тема романтически осмысленного подвига, художественное исследование пути,

который ведет героя в бессмертие. Поэмы близки друг другу по замыслу: в их центре — воин-герой, история его подвига. Но в отличие от посвящений, очерков и баллад в поэмах Суворова подвиг дается шире и глубже — на фоне судеб народа, автор стремится проникнуть в историю и условия формирования героического характера.

«Сибиряк на Неве» и «Золото» — это первые шаги Суворова в жанре поэмы, подступы к лирическому эпосу. Незаурядность этих первых опытов, глубокое поэтическое дыхание — все это убеждает, что Суворов мог стать мастером крупной поэтической формы.

Если продолжать разговор об «утверждении таланта» поэта на фронте, нужно остановиться на образности поэтического языка Суворова, ищущего неожиданные сравнения и метафоры («сочная брусничная заря», «острый ветер», «комочком голубого дыма белка пронеслась в тени ветвей»), нужно было бы говорить о разнообразии его строфики, о мастерском использовании громадных возможностей русского силлабо-тонического стиха, о звукописи, о своеобычной суворовской рифме, во многом предвосхитившей рифму поэзии 50-х. Но я остановлюсь лишь на одном примере.

Именно на фронте Суворов обратился к сонету — форме чрезвычайно непростой и емкой. Эта достаточно трудная строфическая форма во время войны как бы была отложена до лучших времен. Единичные обращения к сонету можно отметить у Сельвинского, Лебедева, Дудина. Суворов же написал за время войны более пятидесяти сонетов! С чем же связано обращение поэта к этой сложной форме? Думается, сказалось тут распространенное среди поэтов и во многом справедливое мнение, что у освоившего сонет все остальные формы не вызовут затруднений, появится известная раскованность. С другой стороны, Суворов ставил перед собой задачу наполнить старую форму новым, военным содержанием. Сонет обретет иные краски и мощь, если им рассказывать о походе. Интересно, что в рукописи «Из полевой сумки» весь цикл называется не «Сонеты гнева», а «Походные сонеты».

Восхищаясь мужеством и мелодичностью фронтовой поэзии Суворова, вдумываясь в героические судьбы его героев, можно задать справедливый вопрос: «А что, уж таким ли классиком был Георгий Суворов в свои неполные двадцать пять лет? Что же, не было у него и недостатков, промахов?» Конечно же, различимы и слабые стороны в творчестве поэта. Сказалась отрывочность и торопливость в работе над стихами, да и большинство из них он просто-напросто не успел подготовить к печати, откладывая

карандаш для того, чтобы взять в руки автомат. Взыскательный читатель найдет в его строках и неточность в работе со словом, и стилистические промахи, и слабые рифмы, и неудачные сравнения или метафоры. Но, как известно, о поэте судят по его вершинам. Это промахи сложившегося молодого художника, а не начинающего автора, как иногда утверждают. Совершенно верно говорил по этому поводу Сергей Наровчатов: «В статьях и воспоминаниях о Майорове, Кульчицком, Суворове, Когане иногда упускается из виду одно серьезное обстоятельство. О них пишут как о чистых и смелых юношах, погибших на войне и сочинявших стихи, интересные в качестве человеческих документов. Меньше обращается внимания на то, что стихи эти были и лирическими дневниками, запечатлевшими высокие чувства патриотизма и партийности, и серьезным и новым явлением поэзии…»

О литературоведческом поиске

(Лирическое отступление)

1

А. С. Пушкин заметил однажды: «Нам все еще *печатный лист кажется святым.* Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!»

Увы, бывают случаи, когда исследования, призванные прояснить какой-либо факт, только вводят нас в заблуждение, тем более если они стали достоянием того самого печатного листа, к которому мы, несмотря на предупреждения классика и личный горький опыт, продолжаем испытывать «святые» чувства.

Я не стану останавливаться на ряде неточностей, которые пришлось исправить, выстраивая жизненный и творческий путь Суворова, но на одном сюжете я все же хотел бы задержать читательское внимание. Уж больно он типичен, уж больно здорово иллюстрирует сам механизм возникновения и распространения ошибок и неточностей!

Речь идет о сложившемся убеждении, что первые стихи поэта были напечатаны в красноярской периодике. В начале работы, обрадованный этой подсказкой предшественников, я прилежно изучил красноярскую периодику начиная с 1936 года, но, к своему величайшему изумлению, ни малейших следов Суворова не обнаружил.

Не может быть, подумал я, ведь об этом пишут все исследователи! И снова самым внимательным образом повторил проделанное. Результат тот же. И тогда я решил выяснить, откуда пошло недоразумение: кто-то же был первым!

Вероятнее всего, истоки ошибки следует искать в одной из первых рецензий на книгу поэта, появившейся в пятом номере «Сибирских огней» за 1945 год и принадлежавшей перу его новосибирского товарища А. Смердова, сообщавшего, что первые стихи Г. Суворова стали «появляться незадолго до войны в сибирских газетах — в Омске, Красноярске, в сборниках и альманахах…». Что касается Омска, то Смердов совершенно прав, а Красноярск он, видимо, назвал, следуя естественной логике: раз жил в Красноярске, значит, печатался. Выше я уже высказывал

свое мнение, почему Г. Суворов не успел выступить в красноярской периодике.

Мог, впрочем, ввести в заблуждение и другой момент: в 1940 году на «литературной странице» «Красноярского комсомольца» появилось стихотворение некоего Ивана Суворова «Лирическое», по своим индивидуально-стилистическим признакам не имеющее ничего общего со стихами автора «Слова солдата», написанными в то же время. Но совпадение фамилий тем не менее могло ввести в заблуждение автора рецензии, познакомившегося с Георгием Суворовым только в 1942 году: рецензия написана еще во время войны, под свежим впечатлением гибели товарища. Проверять было некогда, да, может быть, и негде.

Однако эту же ошибку совершили составители литературно-художественного сборника «Сибиряки» (Красноярск, 1947), уточнившие в биографической справке к поэтической подборке Суворова, что его «первые стихи были напечатаны в Красноярске в „Красноярском комсомольце“», затем И. Гребцов в рецензии «Слово солдата» («Енисей», 1954, № 14) внесет еще большую «ясность» в возникшую путаницу: оказывается, поэт печатался не только в «Красноярском комсомольце», но и в краевой пионерской газете…

А потом и Я. Духан умудрился в своей брошюре «Молодость жива!» (Л., 1970) даже проанализировать суворовские произведения, печатавшиеся в красноярской периодике: «Это были крепкие, по-юношески звонкие стихи, но они мало чем отличались от напечатанных рядом».

И все же в Красноярске Г. Суворов не печатался. Обратное утверждение — плод неточности одних и некритичности других.

2

«Вот они! — Константин Владимирович Кононов с трудом снимает с антресолей несколько пыльных подшивок. — Ну, в 41-м Суворова у нас еще не было, а вот это для вас: 42, 43, 44-й…»

Передо мной на стареньком круглом столе, застеленном кружевной скатертью, лежит то, что я так долго и безуспешно разыскивал, — полная фронтовая подшивка дивизионной газеты «За Родину», в которой работал поэт. Я бегло листаю желтые страницы, и результат превосходит все мои ожидания — суворовские стихи (много стихов!), прозаические очерки, заметки. Совершенно неизвестная сторона его творчества!

Но расскажу все по порядку. О том, что произведения поэта

должны были печататься в «низовой» фронтовой периодике, а именно в газете «За Родину», догадаться было несложно. Раз служил в газете, значит, печатался. Но вот найти фронтовые подшивки оказалось делом почти безнадежным. В самой дивизии были разрозненные экземпляры, неудача постигла меня и в хранилищах газетной периодики. Военные журналисты, к которым я обращался за консультацией, разводили руками: «Вообще-то должны эти подшивки где-то храниться. Положено. Но, с другой стороны, сами понимаете — война…»

Покручинившись, я продолжил составление полной библиографии произведений Суворова и материалов о нем. И вот в ленинградском «Дне поэзии» 1974 года наткнулся на стихотворение Суворова, посвященное лейтенанту Островскому, повторившему подвиг А. Матросова. Под текстом указывалось, что это публикация гвардии подполковника в отставке К. В. Кононова. А во врезке сообщалось, что стихи перепечатываются из дивизионной газеты «За Родину», где поэт опубликовал немало очерков и стихотворений, посвященных лучшим людям дивизии. Звоню в Ленинград. Оказывается, среди участников войны имя К. В. Кононова хорошо известно: он председатель Совета ветеранов 45-й гвардейской дивизии, в которой служил автор «Слова солдата». Выясняю адрес и пишу письмо. Вскоре приходит ответ, где есть и такие слова: «К счастью, мне удалось сохранить подшивку газеты „За Родину“ 1940–1945 гг. В ней и опубликованы его стихи и очерки».

Таким образом я оказался в доме Константина Владимировича в селе Рыбацком, являющемся, несмотря на свое название, теперь районом Ленинграда. Но по сути Рыбацкое и вправду скорее походит на большое село: вдоль трамвайной линии неровными рядами, как новобранцы, выстроились деревенские домики, между которыми иногда попадаются сооружения, воздвигнутые в стиле «дачного терема».

У К. В. Кононова я провел несколько дней: снимал копии, слушал рассказы о Суворове, о войне. Константин Владимирович знал поэта лично; и до сих пор, когда речь заходит о той несправедливости, голос его начинает дрожать. По моей просьбе свои воспоминания о Суворове он облек в письменную форму и дал мемуарам очень характерный заголовок — «Гвардии Суворов». Воспоминания К. В. Кононова широко использованы в этой книге.

Уже собираясь и благодаря хозяина за помощь и гостеприимство, я все-таки решился спросить:

«Константин Владимирович, а как же получилось, что единственная известная подшивка оказалась только у вас?»

Он на минуту замялся:

«Ладно, дело прошлое… Когда сообщили о капитуляции Германии, мы на радостях начали палить в воздух — из автоматов, пистолетов, из ракетниц. Одна ракета возьми да и попади в редакционный автобус…»

«В тот самый, про который писал Суворов?!»

«В тот самый. А там и были все подшивки, кроме одной, которую я вел для себя и хранил на квартире. Вот так вот…»

Рукописи не горят… Эти слова из «Мастера и Маргариты» я еще раз вспоминал, разыскивая все, что связано с Суворовым. Вспоминал то с благодарностью, находя безвозвратно, казалось бы, утерянное, то с иронией, выяснив, что та или иная рукопись или письмо утрачены навсегда. И все-таки рукописи не горят! С этого убеждения начинается литературоведческий поиск, в этом и его конечный смысл, потому что рукопись, опубликованная и ставшая достоянием тысяч, уже в самом деле не боится огня!

3

В 1958 году братская могила, в которой похоронен Г. Суворов, была перенесена с берега Нарвы, где должно было разлиться водохранилище, в город Сланцы Ленинградской области. Над могилой воздвигли обелиск, а к нему друзья поэта прикрепили небольшую мраморную плиту с надписью:

> «Георгий Кузьмич Суворов — поэт, гвардии лейтенант, родился в 1919 г., пал смертью храбрых при форсировании реки Нарвы 13 февраля 1944 г. „Свой добрый век мы прожили как люди и для людей“. Г. Суворов».

При сланцевской школе № 12 создан музей поэта, ребята ведут большую поисковую работу, у них есть интересные материалы. Об этом мне сказали еще в Ленинграде. Поэтому, сойдя с автобуса, я направился в школу, где и познакомился с пионерами-суворовцами и их учительницей Татьяной Васильевной Афанасьевой. В музее действительно оказались очень любопытные материалы, в частности копия воспоминаний Т. К. Серебряковой (Суворовой) о своем брате. Потом Татьяна Васильевна повела меня к братской могиле. Мемориальный комплекс был вынесен за город, но разрастающиеся новостройки все ближе и ближе подступали к металлической ограде.

Кругом лежали глубокие февральские сугробы, но плиты с вырубленными именами павших воинов были заботливо очищены

от снега. В Сланцы я приехал прямо из Нарвы, где несколько дней проработал с суворовским архивом, хранящимся в городском музее. За десятилетие до меня там славно потрудился Леонид Решетников, издавший многие стихи «Из полевой сумки» поэта, со времен войны пролежавшей под стеклом одной из музейных витрин. Но кое-что осталось и на мою долю. Для публикаций удалось выбрать более десяти стихотворений, но больше всего поразила яркость отдельных строчек и строф, вдруг вспыхивающих посреди какого-нибудь по-юношески незаконченного стихотворения, записанного фиолетовыми чернилами в самодельной тетрадке или напечатанного на длинной полоске бумаги на редакционной или штабной машинке.

В ту минуту, возле обелиска, мне вспомнилась строфа из не очень удачного и потому неопубликованного суворовского стихотворения, написанного, вероятно, одновременно со стихотворением «В Павлово» и навеянного теми же событиями:

Я только знаю: если плети
Ветвей склонились на гранит —
То со столетием столетье,
Как жизнь с бессмертьем, говорит.

Все было удивительно созвучно: и немного растрепанные метелью, уронившие ветви на гранит еловые венки, и ощущение глубинной связи моей жизни с бессмертием людей, похороненных здесь.

«А вы еще не встречались с Ниной Александровной Емельяновой? — вдруг вмешалась в течение моих мыслей Татьяна Васильевна. — Впрочем, теперь у нее другая фамилия — Румянцева».

«Нет!» — с удивлением ответил я.

«А вот приезжайте к нам 19 апреля, обязательно встретитесь!»

Имя Нины Емельяновой мне было хорошо известно — именно ей Георгий Суворов посвятил лирический цикл «Во имя любви», которым почти исчерпывается любовная тема в его творчестве. Долюбить, а значит, и дописать об этом предполагалось потом, после Победы…

Вряд ли стоит размышлять, были их отношения юношеской влюбленностью или же единственной любовью на всю жизнь, — все это проверяется временем, а времени-то как раз у них не было. И как бы потом ни сложилась твоя жизнь, счастливо или не очень, та оборвавшаяся в самый прекрасный миг любовь навеки останется самым светлым образом твоей памяти, самой нежной

болью твоей души.

Нина Александровна навсегда осталась верна памяти своего фронтового друга. Нет, не в книжно-сентиментальном смысле — впереди была долгая жизнь, обычные человеческие радости и стремления. Образ Суворова стал для Нины Александровны не просто памятью утраты, а как бы нравственным ориентиром в жизни, на примере Георгия Суворова она воспитывала своих детей.

Я написал Нине Александровне письмо, получил ответ, произведший на меня сильнейшее впечатление. Она отвечала на некоторые мои вопросы, уточняла некоторые мои предположения и соображения, но главным было другое — слова о том, что для всей ее жизни значила та давняя и недолгая в общем-то встреча с Суворовым.

«Так бывает каждый год, — снова прервала мои мысли Татьяна Васильевна. — Вот уже много лет в день рождения Суворова Нина Александровна приезжает к нам из Орла, одна или с кем-нибудь из детей. Постоит у могилы, положит цветы и уедет домой. Мы сначала и не знали, что эта женщина с цветами — Нина Емельянова, но потом ребята как-то выяснили. О ней даже очерк в нашей районной газете напечатали. Теперь мы с Ниной Александровной постоянно переписываемся…»

Прошло время, и в один прекрасный день я написал стихи. Мне с самого начала было ясно, что рано или поздно я напишу о Георгии Суворове стихи, ибо какая-то грань его личности, судьбы не укладывалась в рамки обычных статей, оставалось чувство недосказанности, не исчезнувшее, впрочем, и после появления этих стихов, которыми мне хочется закончить лирическое отступление.

Каждый год

Говорят, что она каждый год приезжает сюда,
На могилу солдатскую в городе этом неблизком.
И положит цветы, и стоит, вспоминая года,
Что лежат непробудно, как мертвые под обелиском.

Говорят, что покоится тут молодой лейтенант —
Фронтовая любовь, ослепившая сердце когда-то.
Он был весел и смел, он имел неуемный талант
И к стихам, и к войне —
той, что не пощадила солдата…

Летней ночью в округе победно поют соловьи,
Зимней ночью метель дышит с болью, как наша эпоха,
Говорят, ничего нет на свете дороже любви,
А они ее отдали всю — до последнего вздоха!

1980

Из истории знаменитого стихотворения

В Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева, который находится в столице на улице Герцена, есть мраморная доска с выбитыми на ней именами писателей-москвичей, павших на фронтах Великой Отечественной войны. На ней вы найдете имена Гайдара, Уткина, Кульчицкого и многих других — более ста имен. По сложившейся традиции каждый год, в канун Дня Победы, у мемориальной доски проходит митинг, посвященный памяти погибших, собираются писатели-фронтовики, родные и близкие не доживших до Победы, приходит молодежь. Поэты разных поколений читают стихи, но не свои, а стихи погибших товарищей по перу.

Однажды от имени молодого поколения на таком митинге выступал я, конечно же решив прочитать из Георгия Суворова самое знаменитое его стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…». Но вот уже перед самым началом, поинтересовавшись, кто что будет читать, я с огорчением обнаружил: еще два уважаемых мною поэта хотят читать то же стихотворение. Тогда я воспринял это как досадное недоразумение и лишь потом подумал о том, что случай свидетельствует о всеобщей известности этих стихов, вошедших, как говорится, в золотой фонд советской поэзии. Без них не обходится ни одна антология, ни один сборник военной поэзии, ни один серьезный разговор о фронтовой лирике. Очень точно об этих стихах написал С. Наровчатов: «Поразительной эпитафией ему, да и не только ему, а всем безвременно погибшим на фронте, послужило стихотворение, сложенное Суворовым за несколько дней до смерти… Все лучшие черты поэзии Георгия Суворова нашли выражение в этом стихотворении».

А вот еще одно свидетельство, вспоминает Михаил Дудин:

> «Из-под Кингисеппа Суворов на денек заскочил в Ленинград, радостный, возбужденный наступлением. Вместе с ним мы в тот вечер пошли в филармонию на концерт М. В. Юдиной. Играла актриса прекрасно.
>
> — Больше всех я завидую композиторам и музыкантам, — сказал Гоша.
>
> — Почему?
>
> — Их не надо переводить на другой язык. Они понятны всем без перевода.

Суворов задумался, порылся в полевой сумке.

— Хочешь, я тебе подарю? — вдруг сказал он и протянул мне вчетверо сложенный лист бумаги.

Это была наша последняя встреча. Назавтра Суворов отправился под Нарву в свой взвод противотанковых ружей.

Через день из штаба мне принесли телефонограмму:

„Суворов погиб. Его полевая сумка у Черноуса в редакции“.

Я развернул вчетверо сложенный лист бумаги и прочел подаренные мне стихи:

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра как стекло,
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней.
Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей.

В полевой сумке Суворова я нашел три тетради. Четыре раза выходила потом его книга „Слово солдата“, из которой сам Гоша не видел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде. Он не заботился об этом, он торопился сказать. И то, что он сказал, звучит как реквием всем погибшим и как напутствие всем живым. Слова:

Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей —

можно написать на судьбе всего нашего поколения».

Прекрасные строки! Ни к ним, ни к самим строкам Георгия Суворова на первый взгляд добавить нечего. И все-таки есть что добавить, так как у самого знаменитого суворовского стихотворения оказалась непростая, я бы даже сказал, запутанная судьба. Начнем хотя бы со времени написания стихов.

Всегда считалось, что они написаны буквально за несколько дней до смерти. Но это неверно. 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская операция, в которой активное участие принимало и вверенное Г. Суворову подразделение бронебойщиков, — время было горячее, советские войска стремительно наступали. «Стихов пока я не пишу. Но какие я буду писать стихи, когда кончатся бои!..» — восклицает поэт в письме А. Смердову, помеченном днями наступления.

Есть и более убедительное доказательство. Стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…» автор включил в рукопись «Стихи в дополнение к сборнику „Слово солдата“», анализ этого стихотворения мы находим во внутренней рецензии Лениздата, написанной Т. Хмельницкой еще в 1943 году. Таким образом, версия о создании этого произведения за несколько дней до смерти, то есть в феврале 1944 года (именно так, как правило, датируется это стихотворение), в принципе отпадает. Вероятнее всего, эти стихи поэт написал в ожидании готовящегося наступления в конце 1943 года.

Кроме вопроса о датировании возникает и текстологическая проблема: дело в том, что вошедший в сборники поэта и антологии текст не является полным. В Нарвском городском музее я обнаружил авторский автограф этого стихотворения, существенно отличающийся от общеизвестной приведенной мной редакции. Причем эти различия играют важную роль. В самом деле, в канонической редакции это стихотворение воспринимается как образец философской лирики, написанный в элегическом ключе, — обращение «мой милый друг» воспринимается во многом подобно есенинскому «До свиданья, друг мой…».

«Нарвский» же вариант на восемь строф длиннее пятистрофного канонического текста и представляет собой по жанру посвящение М. Дудину. Причем это не просто посвящение, это как бы ответ на поэтическое высказывание товарища по перу. Г. Суворов имеет в виду известное стихотворение «Соловьи»,

написанное М. Дудиным в 1943 году и обращенное к будущей Победе, славящее жизнь наперекор всем смертям:

Я славлю смерть во имя нашей жизни,
О мертвецах поговорим потом.

М. Дудин пишет о возможности своей смерти как о необходимой жертве во имя весны-победы, о которой поют соловьи, — традиционный для всей фронтовой поэзии символ грядущего торжества:

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине:
У нас сегодня пели соловьи».

Пускай со временем высохнут слезы, и подруга, говоря словами Б. Богаткова, отдаст свое сердце «честному парню, вернувшемуся с войны». Главное, по мысли автора, это торжество жизни:

Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.

Перекличку двух поэтов заметила во внутренней рецензии еще Т. Хмельницкая: «Это уже не только дружеский разговор с боевым товарищем, но беседа поэта с поэтом. Интересно, что, вдохновившись образами своего поэтического друга, Суворов подпадает под влияние его стиха, начинает употреблять специфические дудинские выражения, детали…» С последним утверждением едва ли можно согласиться, правильнее, на мой взгляд, вести речь о близком романтическом мировосприятии двух поэтов, об изобразительной силе их дара. Образы Г. Суворова и М. Дудина близки по своей живописности, зримости:

Еще минута.
Задымит сирень
Клубами фиолетового дыма…

(М. Дудин)

Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи…

(Г. Суворов)

Но главное, что сближает два произведения, — это их жизнеутверждающий пафос, разлитая в них вера в торжество света над тьмой, столь характерная в целом для поэзии Г. Суворова.

Теперь, после предварительных замечаний, восстановим по «нарвскому» автографу полный текст стихотворения. Открывается оно выразительной картиной военной разрухи, пепелища:

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Поэт пишет о том, чего лишила людей война, что приходит в снах и мечтах к измученным «чернорабочим войны»:

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Развивая эту тему, Г. Суворов обращается мысленным взглядом к грядущей Победе:

Еще война. Но мы безумно верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

В канонической редакции поэт снова возвращается к теме войны — «Последний враг. Последний меткий выстрел…». Но в авторском варианте продолжается развитие темы мира. Причем оно идет в двух планах: что будет делать после Победы сам автор, а что — его друг М. Дудин. Именно в этой части стихотворения наиболее ярко выступает его жанровая природа:

И мы с тобою сразу позабудем,
Что очень много испытать пришлось.
Захочется нам сразу жить как людям,
Усталостью убив крутую злость.
Ты бросишься, как лошадь на отаву,
Куда-нибудь туда за Кострому.
А я охотник, я былую славу
Припомню и ружье свое возьму.

Здесь возникает характернейший для всей поэзии Г. Суворова образ сибирского охотника. Поэт рисует милые его сердцу образы сибирской природы. Начинает звучать мотив «сереброокой Сибири» — важнейший для поэта:

Ты где-нибудь потонешь в вешних зорях
И изойдешься песней вдалеке.
Я затеряюсь в темноперых взгорьях,
В приземистом лохматом сосняке.

Ты будешь петь теченье жизни полной,
Закатов тихих голубую медь.
Передо мною встанет, словно полночь,
Как сон тайги, взъерошенный медведь.

Стихотворение воспринимается в самом деле как доверительный разговор с другом, поэт вспоминает о любимой товарища, мечтает о сибирской охоте:

Ты будешь думать о своей Ирине
Или гулять, быть может, по Москве,
Когда мне будет сниться небо сине,
Заря на темной спутанной траве.
И лишь проснусь, заждавшиеся сосны
Возьмут и солнце склонят мне на грудь,
И я приму расплавленное солнце
И озарю им свой скалистый путь.

Потом вперед. И, где-нибудь заметив
Мелькающее пламя кабарги,
Схвачу ружье… Багряный легкий ветер
Качнет густые облака тайги.

И тут в развитие своей поэтической мысли Суворов прибегает к характерному для него приему: он возвращается к теме войны, но не реальной, как в начале стихотворения, а к иной, как бы увиденной из будущего:

И я скажу: однако был точнее.
Однако раньше бил наверняка,
…Передо мною встанет вновь траншея,
Затянутые мглой зрачки врага.

Поэт высказывает пронзительную по точности и трагической глубине мысль: никогда рука охотника, целившегося в красавца оленя, не будет так беспощадно точна, как в схватке с врагом. Поэт задумывается о том, чем станет в его будущей жизни война, как «тяжело она отложится», пользуясь выражением А. Межирова, в душе. Об этом же задумывались тогда и другие сверстники поэта. Например, М. Луконин в стихотворении «Приду к тебе» писал о том, что среди военных испытаний важно не растерять духовные богатства, полноту ощущений бытия: «Но лучше прийти с пустым врагом, чем с пустой душой».

Последние две строфы представляют собой как бы нерв всего стихотворения:

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

Концовка стихотворения многопланова: взгляд на войну из мирного будущего смешивается с печалью человека, понимающего, что он-то, быть может, никогда не взглянет на войну с вершины Победы.

Но если учитывать весь авторский текст, последние строки приобретают более сложное философское звучание. Да, испытать фронтовому поколению пришлось многое: потери друзей, неимоверную тяжесть жизни на передовой. И то, что натуралистические подробности фронтового быта, как правило, оказывались «за кадром» поэзии Суворова, совсем не значит, будто они не влияли на его восприятие мира.

Но незыблемым останется одно: короткий, кровавый, исполненный героики и неизбежной жестокости век был «добрым», и прожили они свою жизнь «как люди», потому что умирали и убивали во имя жизни — «для людей». Именно в

торжестве этой мысли заключается выдающееся значение знаменитого суворовского стихотворения в советской фронтовой лирике. Но ярко и определенно эта идея прослеживается лишь в «нарвском», полном варианте.

Вот такой запутанной и неожиданной оказалась судьба самого известного стихотворения Георгия Суворова. И я не берусь утверждать, что строфы, сокращенные уже после гибели поэта (видимо, во время составления и редактирования его первой книги в Лениздате в 1944 году), «испортили» произведение. На многих исключенных строфах лежит печать той самой торопливости и незавершенности, о которой мы уже говорили. Если быть откровенным, объективным, общеизвестные строки лаконичнее, точнее, профессиональнее, что ли… Все это лишний раз подтверждает, как необходим молодому писателю вдумчивый, доброжелательный, но требовательный редактор. И все же что-то ушло из стихов вместе с правкой: ушла свойственная только Суворову романтика охотника-сибиряка, ушло ощущение откровенного разговора с другом-фронтовиком, типичное для его стихов-посвящений, ушли и глубокие, может быть, тогда, в 1944 году, не совсем еще понятные мысли…

Как тут быть? Я, честно говоря, не знаю.

Между двумя морями

(Вместо заключения)

Когда я только задумывал книгу о Георгии Суворове, то набросал схему будущих поисков: что нужно прочесть, где побывать, с кем встретиться. Открывался тот план двумя пунктами:

1. Съездить в село, где поэт родился, — Краснотуранское.
2. Съездить на место его гибели…

Мне казалось, что, побывав в этих местах, я смогу как бы охватить судьбу Георгия Суворова в целом, найти некий ключ к его судьбе. Это ощущение трудно выразить словами, но без него невозможно написать ничего путного о человеке.

…Но два первых пункта моего первоначального плана так и остались невыполненными, потому что выполнить их невозможно. Красноярское море разлилось теперь там, где было село Краснотуранское — родина поэта. Нет, на карте такое название осталось, но это совсем другое, новое село.

А на том месте, где Георгий Суворов погиб и был похоронен, теперь Нарвское море. Два моря скрыли места гибели и рождения поэта, словно убеждая нас: этими двумя датами не ограничена ни жизнь Суворова, ни его творчество!

1980–1982

notes

Примечания

1

Впоследствии, уже перебравшись в Красноярск, поэт, как вспоминает его сестра, написал очерк «Там, где жил Тимофей Бондарев». К сожалению, обнаружить эту суворовскую работу ни в довоенной периодике, ни в архивах я так и не смог.

2

Дата указана ошибочно.

3

«Правда», 1943, 9 октября. В письме Суворов неточно указывает заметки и дату публикации.